А.П. Назаретян

Цивилизационные кризисы

в контексте Универсальной истории

Акоп Назаретян

Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории

«Когито-Центр»

2001

УДК 159.9
ББК 88

Назаретян А. П.

Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории / А. П. Назаретян — «Когито-Центр», 2001

Общество не первый раз в своей истории сталкивается с особым типом кризисов (демографических, экологических, военно-политических), которые вызваны несбалансированной деятельностью людей. Были среди них и глобальные.Чем все эти кризисы, происходившие на различных исторических стадиях, сходны между собой? Почему они периодически повторяются и какую роль играют в развитии общества и природы? Существуют ли единые механизмы обострения антропогенных кризисов, и по каким симптомам можно прогнозировать их приближение? Наконец, каковы шансы планетарной цивилизации преодолеть надвигающийся комплексный кризис, какую цену за это придется заплатить, и каковы могут быть долгосрочные последствия? Автор книги, профессор психологического факультета МГУ и отделения политологии МГЛУ, исследует эти вопросы, привлекая данные исторической психологии, культурной и сравнительной антропологии, эволюционной биологии и космологии, а также обобщающие модели самоорганизации.Книга адресована научным работникам различных специальностей, преподавателям вузов, аспирантам и студентам. Ее материал может быть использован при разработке междисциплинарных курсов Универсальной истории (Big History) для гуманитарных, естественнонаучных и технических факультетов.

УДК 159.9
ББК 88

© Назаретян А. П., 2001
© Когито-Центр, 2001

Содержание

Введение 7
Очерк I 17
1.1. Двадцатый век, суровый и милосердный 17
1.2. Распутье двадцать первого века 28
Очерк II 39
2.1. Архетипы времени в традиционной культуре 39
Конец ознакомительного фрагмента. 45

А. П. Назаретян
Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории (Синергетика, психология и футурология)

© А.П. Назаретян, 2001
© ПЕР СЭ, оригинал-макет, оформление, 2001

* * *

Введение
От будущего – к прошлому
Размышление о методе

Dubito, ergo cogito… Cogito, ergo sum.
R. Cartesius

Прогресс – это восхождение ко Мне.
Ж.П. Сартр

Мне не очень нравится существовать в этом мире, но я не перестаю удивляться вселенскому чуду моего существования.
В. Гарун

Чтобы не уничтожить этот мир, мы должны настоящим руководить из будущего.
К. Бурихтер

Зоопсихологами показано, что прочность инстинктивного запрета на убийство себе подобных пропорциональна естественной вооруженности животных. Из этого выдающийся ученый К. Лоренц [1994] сделал вполне логичный вывод: «Можно лишь сожалеть о том, что человек… *не имеет* “натуры хищника”» (с.237). Если бы люди произошли не от таких биологически безобидных существ, как австралопитеки, а например, от львов, то войны занимали бы меньше места в социальной истории.

Своеобразным ответом стала серия сравнительно-антропологических исследований внутривидовой агрессии [Wilson E., 1978]. Выяснилось, что в расчете на единицу популяции львы (а также гиены и прочие сильные хищники) убивают друг друга *чаще*, чем современные люди.

Эти результаты для многих оказались сенсацией. Во-первых, лев действительно обладает гораздо более мощным инстинктивным тормозом на убийство особей своего вида, чем человек (а по мнению известного палеопсихолога Б.Ф. Поршнева [1974], на ранней стадии антропогенеза развивающийся интеллект подавил природные инстинкты, включая изначально слабый популяцио-центрический). Во-вторых, плотность проживания в природе несравнима, скажем, с городской, а концентрация и у людей, и у животных обычно повышает агрессивность. Наконец, в-третьих, несопоставимы «инструментальные» возможности: острым клыкам одного льва противостоит прочная шкура другого, тогда как для убийства человека человеком достаточно удара камнем, а в распоряжении людей гораздо более разрушительное оружие.

Сходный по смыслу результат получен австралийскими этнографами, сравнившими войны аборигенов со Второй мировой войной. Из всех стран-участниц только в СССР соотношение между количеством человеческих потерь и численностью населения превысило обычные показатели для первобытных племен [Blainay G., 1975].

По нашим подсчетам, во всех международных и гражданских войнах XX века погибло от 110 до 140 млн. человек. Эти чудовищные числа, включающие и косвенные жертвы войн, составляют менее 1,5 % живших на планете людей (10,5 млрд. в трех поколениях). Приблизительно такое же соотношение имело место в XIX веке (около 35 млн. жертв на 3 млрд. населения) и, по-видимому, в XVIII веке, но в XVI–XVII веках процент жертв был выше.

Трудности исследования связаны с противоречивостью данных и с отсутствием согласованных методик расчета (ср. [Wright Q., 1942], [Урланис Б.Ц., 1994]). Но и самые осторожные

оценки обнаруживают парадоксальное обстоятельство. *С прогрессирующим ростом убойной силы оружия и плотности населения процент военных жертв на протяжении тысячелетий не возрастал.* Судя по всему, он даже медленно и неустойчиво сокращался, колеблясь между 5 % и 1 % за столетие.

Более выражена данная тенденция при сравнении жертв бытового насилия. Ретроспективно рассчитывать их еще труднее, чем количество погибших в войнах, но, поскольку здесь нас интересует только порядок величин, то достаточно использовать косвенные свидетельства.

В XX веке войны унесли больше жизней, чем бытовые преступления, а также «мирные» политические репрессии (так что в общей сложности от всех форм социального насилия погибли до 3 % жителей Земли)[1]. Но в прошлом удельный вес бытовых жертв по сравнению с военными был иным. Особенно отчетливо это видно при сопоставлении далеких друг от друга культурно-исторических эпох.

Так, очень авторитетный американский этнограф Дж. Даймонд, обобщив свои многолетние наблюдения и критически осмыслив данные коллег, резюмировал: «В обществах с племенным укладом… большинство людей умирают не своей смертью, а в результате преднамеренных убийств» [Diamond J., 1999, p.277].

При этом следует иметь в виду и повсеместно распространенный инфантицид, и обычное стремление убивать незнакомцев, и войны между племенами, и внутриплеменные конфликты. В качестве иллюстрации автор приводит выдержки из протоколов бесед, которые проводила его сотрудница с туземками Новой Гвинеи. В ответ на просьбу рассказать о своем муже ни одна из женщин (!) не назвала единственного мужчину. Каждая повествовала, кто и как убил ее первого мужа, потом второго, третьего…

Парадоксальное сочетание исторически возраставшего потенциала взаимного истребления со снижением реального процента насильственной смертности уже само по себе заставляет предположить наличие какого-то культурно-психологического фактора, компенсирующего рост инструментальных возможностей. Выявить этот фактор, который до сих пор обеспечивал сохранение цивилизации на нашей планете, и его динамику, опосредованную антропогенными кризисами, – одна из задач настоящей книги.

Но я предварил Размышление данным примером, чтобы проиллюстрировать методологический прием характерный для новейшей (постнеклассической) науки [Степин В.С., 1992]. Гротескно изложу его суть, обратившись к старинной философской проблеме, которая долгое время принималась людьми практическими за досужую игру.

Многие мыслители с разочарованием признавали, что сомнение даже в самых интуитивно очевидных фактах, вплоть до существования окружающего мира, не может быть устранено при помощи исчерпывающих доводов. Невозможность опровергнуть стойкого солипсиста, утверждающего, что весь мир есть не более чем совокупность его (или моих?) субъективных ощущений, называли позором для философии и человеческого ума. Прибегали к «осязаемым аргументам» (ударам палкой), которые, конечно, по существу ничего не решали.

Для мышления, жаждущего безупречности, это был концептуальный тупик. Ведь если даже существование внешнего мира приходится принимать как условное «допущение», то и все прочие суждения о нем строятся на песке…

Между тем решение умозрительной головоломки было найдено даже раньше, чем сама она сделалась модной темой философских изысканий. Ехидный солипсист неуязвим до тех пор, пока не осмелится на завершающий шаг, усомнившись также и в своем собственном существовании. Сделать такой шаг он просто обязан, чтобы быть последовательным. Но тогда он

[1] Р. Руммель [Rummel R.J., 1990, p.XI] утверждает, что «с 1900 года вне войн и других вооруженных конфликтов правительствами было убито… 1194000000 человек, из коих 95200000 – марксистскими правительствами». В такой формулировке приведенные числа представляются завышенными и даже политически тенденциозными. Часто «превентивные» массовые репрессии осуществлялись *во время* войн, но в глубоком тылу. Они включены в наш расчет военных жертв.

сразу попадает в хитрую ловушку, петлю Р. Декарта: сомневаюсь, значит, мыслю, а мыслю – значит, существую!

Таким образом и обнаружилось первое странное обстоятельство: «Я существую!» – самое эмпирически достоверное из всех мыслимых суждений о мире. Значительно позже обнаружилось другое обстоятельство. А именно, что это суждение отражает факт крайне маловероятный («вселенское чудо»).

Дискуссии по поводу антропного космологического принципа в 60 – 80-х годах XX века показали, сколь удивительное сочетание фундаментальных констант физической Вселенной необходимо для появления белковой молекулы. Исследования по эволюционной геологии и биологии продемонстрировали, насколько специфические свойства земной биосферы требовались для того, чтобы могли сформироваться высшие позвоночные и чтобы в итоге образовалась экологическая ниша для особого семейства животных, способных выжить только за счет искусственного опосредования отношений с остальной природой. Наконец, мы далее убедимся, какие «противоестественные» качества должна была выработать «вторая природа», чтобы ее создатель, совершенствуя орудия от каменного рубила до ядерной боеголовки, не истребил сам себя.

Но то, что каждый из наших современников называет коротким словом «Я», – продукт конкретной стадии в развитии космоса, жизни, а также культуры, успевшей овладеть беспримерными средствами истребления и уравновесить их достаточно эффективными (пока) механизмами самоконтроля. Безусловная реальность чрезвычайно маловероятного факта моего бытия превращает его в критический тест на правдоподобие естественнонаучных и обществоведческих концепций, многие из которых, будучи внутренне стройными, дисквалифицируются просто потому, что данному факту противоречат.

Конечно, это оставляет смысловое пространство для почти бесконечного разнообразия конкурирующих (возможно, взаимодополнительных) объяснений и интерпретаций, но дает сильный аргумент для оценки, сопоставления и отбора. Например, коль скоро человечество сумело дожить до моего рождения, значит, следует принимать cum granu salis расхожее представление о человеке как безудержном агрессоре или о том, что посленеолитические культуры «нарушили законы Природы» (подобными утверждениями полны не только академические статьи и монографии, но уже и учебники экологии). А представив себе хоть отдаленно, как сложно организован мой мозг, я не могу довольствоваться тезисом, будто рост энтропии исчерпывает вектор физической необратимости.

Науке потребовались три столетия вдохновенных успехов и горьких разочарований, чтобы обнаружить существование человека – наблюдателя, мыслителя и исследователя. Классическое естествознание строилось на оппозиции антропоморфизму средневековых схоластов, объяснявших все физические движения по аналогии с целенаправленными действиями людей. Естественнонаучное мировоззрение перевернуло логику интерпретации: его лейтмотивом стало освобождение от субъекта и цели, а сверхстратегией – редукционизм, т. е. представление эволюционно высших процессов по аналогии с эволюционно низшими.

Редукционистская парадигма сыграла решающую роль в становлении науки Нового времени. Ею был заложен фундамент всех современных дисциплин, освоивших методы анализа, эксперимента, экстраполяции и квантификации. Вместе с тем интерпретационный потенциал бессубъектных моделей оказался исчерпаем, и это явственно ощутили не только психологи, искусствоведы, социологи, биологи, но и прежде всего физики.

В первой половине XX века произошло шокировавшее современников «стирание граней между объектом и субъектом» [Борн М., 1963]. Естествоиспытателям пришлось признать зависимость знания от его носителя, от рабочих гипотез и применяемых процедур. А главное – тот факт, что сам процесс наблюдения (исследования) есть событие, включенное в систему мировых взаимодействий, и пренебречь этим обстоятельством тем труднее, чем выше требо-

вание к строгости результатов. Вопрос А. Эйнштейна, изменяется ли состояние Вселенной оттого, что на нее смотрит мышь, ознаменовал новую, неклассическую парадигму научного мышления.

Эта парадигма охватила естественные, гуманитарные науки и, что еще более важно, формальную логику и математику. Теорема К. Геделя о неполноте развенчала позитивистскую иллюзию о возможности чисто аналитического знания. Стали формироваться интуиционистские, конструктивистские и ценностные подходы к построению математических моделей, основанные на убеждении, что «понятие доказательства во всей его полноте принадлежит математике не более, чем психологии» [Успенский В.А., 1982, с. 9]. Все это превратило субъекта знания из статиста, остающегося за кадром научной картины мира, в ее главного героя.

В последующем классические идеалы науки подверглись еще более трудному испытанию. Идея субъектности охватила не только гносеологию, но и онтологию естествознания, обозначив контуры еще одной, постнеклассической парадигмы. С распространением системно-кибернетической и системно-экологической метафор вопросы «почему?» и «как?» стали органично сочетаться и даже упираться в вопрос «для чего?»

Молекулярный биолог обнаруживает, что ферментный синтез регулируется потребностями клетки в каждый данный момент. Геофизик, используя целевые функции для описания ландшафтных процессов, ссылается на соображения удобства и называет это принципом эврителизма, т. е. сугубо эвристическим приемом, безотносительно к «философскому» вопросу, обладает ли в действительности ландшафт собственными целями. Физик-теоретик, спрашивая, для чего природе потребовалось несколько видов нейтрино или зачем ей нужны лямбда-гипероны, понимает, что речь идет о системных зависимостях. Представления, связанные с самоорганизацией, конкуренцией и отбором (организационных форм, состояний движения и т. д.), проникнув в неорганическое естествознание, продемонстрировали глубокую эволюционную преемственность между живым и косным веществом. А синтезированная Аристотелем и расщепленная Г. Галилеем и Ф. Бэконом категория целевой причинности вновь обрела права гражданства.

Постнеклассическая наука обогатила познавательный арсенал методом *элевационизма* (от лат. *elevatio* – возведение), когда продуктивные образы распространяются не «снизу вверх», как требует редукционистская стратегия, а наоборот, от эволюционно позднейших к более ранним формам взаимодействия. Это помогает обнаруживать в прежних формах те присущие им свойства, которые служат онтологической предпосылкой будущего и, в частности, эволюционные истоки субъектных качеств, явственно выраженных в поведении высокоорганизованных систем[2].

Здесь, однако, необходимо выделить нюанс, недооценка которого может привести к недоразумениям. Элевационизм остается в рамках научной методологии до тех пор, пока исследователь не поддается соблазну телеологических интерпретаций и не навязывает настоящее в качестве эталона для прошлого. Элевационистская парадигма несовместима с допущением, будто прошлое существует *ради* будущего, а мир был создан и развивался *для того,* чтобы в нем когда-то появились автор и воображаемый читатель этих строк.

Напротив, я буду строго следовать гипотезе апостериорности: каждое существенно новое состояние есть ответ системы на складывающиеся обстоятельства, причем только один из возможных ответов. Задача состоит в том, чтобы выяснить, складываются ли такие «ответы» в последовательные векторы мировой эволюции, и если да, то почему это происходит, не обращаясь к постулату об изначально заложенных целях или a priori записанных смыслах (см., напр., [Налимов В.В., 1995]), которые только раскрываются по мере созревания разума. Прямые параллели между генетической программой роста организма и филогенезом живого веще-

[2] Подробнее о содержании, истории и предыстории элевационизма см. [Назаретян А.П., 1991, 1992].

ства или, тем более, развитием Вселенной выхолащивают самые острые теоретические проблемы, лишают прошлое самодовлеющей ценности и ведут, с одной стороны, к историческим аберрациям, а с другой – к волюнтаризму в практической политике.

Вместе с тем опора на тезис «Я существую» предполагает решительное перераспределение акцентов. В классической науке факт человеческого существования служил источником когнитивного дискомфорта и даже выглядел, по ироническому замечанию И. Пригожина [1985, с.24], «своего рода иллюзией». Диаметрально противоположный взгляд выражает формула выдающегося английского астрофизика Б. Картера (цит. по [Розенталь И.Л., 1985]): Cogito, ergo mundus talis est (Я мыслю, значит, мир таков, каков он есть). Иначе говоря, «любая физическая теория, противоречащая существованию человека, очевидно, неверна» [Девис П., 1985, с.154], и эта простая мысль стала аксиомой для многих современных естествоиспытателей.

В социальном исследовании антропный принцип оборачивается *принципом эгоцентризма*. Человеческий мир обладает такими качествами, которые позволили ему дожить до моего рождения, и серьезного обсуждения заслуживают только такие концепции, которые этому факту не противоречат. Чем лучше мы поймем, почему цивилизация смогла до сих пор сохраниться, тем больше шансов преодолевать кризисные ситуации в будущем.

Таким образом, философская банальность, состоящая в том, что прошлое содержит в себе возможность настоящего, превращается в оригинальный методологический ориентир: полноценное описание физических, биологических или социально-исторических состояний должно содержать указание на те их свойства, которые сделали возможными последующие события и состояния. Этому созвучен еще один типично пост-неклассический мотив (см. эпиграф) – необходимость управлять настоящим из будущего.

Эволюционно-исторический разворот научного мировоззрения обусловил сдвиг интереса с проблемы бытия к проблеме становления и, далее, к проблеме сохранения.

С одной стороны, равновесные состояния и линейные процессы оказываются только переходными моментами неравновесного и нелинейного мира, в котором постоянно образуются новые структуры. С другой стороны, почти все новообразования в духовной жизни, в технологиях, в социальной организации, а ранее в биотических и физико-химических процессах представляют собой «химеры» – в том смысле, что они противоречат структуре и потребностям метасистемы, – и чаще всего выбраковываются, не сыграв заметной роли в дальнейших событиях. Но очень немногие из таких химерических образований сохраняются на периферии большой системы (соответственно, культурного пространства, биосферы или космофизической Вселенной) и при изменившихся обстоятельствах могут приобрести доминирующую роль. Поэтому важнее выяснить не то, как и когда в истории возникло каждое новое явление, а то, когда и почему оно было эволюционно востребовано после длительного латентного присутствия в системе.

Рассматривая развитие как функцию сохранения и сосредоточив основное внимание на периодически обостряющихся кризисах, мы выделяем важный ракурс в причинно-следственной динамике не только прошлого, но также настоящего и будущего.

Именно будущее – основной предмет этой книги, хотя ее большая часть посвящена далекому прошлому. Прогноз всегда так или иначе строится на экстраполяции, а главный вопрос состоит в том, какие из выявленных тенденций, как и в какой мере уместно экстраполировать.

Это, в свою очередь, зависит от двух методологических предпосылок: ретроспективной дистанции и дисциплинарного наполнения модели. Соответственно, когда выбранная методология несоразмерна сложности исследуемой системы и (или) прогностической задачи, футурологам грозят две характерные ошибки.

В первом случае перспектива глобальной системы выводится из отдельных тенденций, отслеженных на коротком временном отрезке. Абсолютизируя ту или иную тенденцию, ана-

литики середины XIX века предрекали, например, тотальный продовольственный дефицит, всеобщую пролетаризацию западного общества, затопление городов лошадиным навозом и прочее. Во втором случае прогноз строится на монодисциплинарном расчете, перспектива оценивается исключительно с позиций термодинамики, энергетики, геологии, генетики, демографии или какой-либо иной отрасли знания, а все прочие («субъективные») факторы игнорируются.

Ошибки замечают и запоминают легче, чем адекватные прогнозы. Это свойственно психике вообще и обыденному сознанию в частности, причем, если ошибочный прогноз не имел трагических последствий, он обычно воспринимается как смехотворный (вспомним наше отношение к синоптикам). Отобрав же и сгруппировав некоторое количество неудавшихся предположений, можно убедить наивного читателя в том, что будущее недоступно научному анализу [Нахман Дж., 2000]. С помощью аналогичного приема мистики и креационисты доказывают несостоятельность науки как таковой.

Действительно, всякое обобщающее суждение *прогностично* и *вероятностно*, и в этом отношении различие между суждениями о прошлом, настоящем и будущем не столь радикально, как принято полагать. Утверждая, что Наполеон умер 5 мая 1821 года, историк тем самым высказывает обязывающий прогноз: никогда *не будут* найдены документы, свидетельствующие о жизни Наполеона после указанной даты, а представленные свидетельства такого рода следует считать фальшивкой. Физик, утверждающий, что при таких-то условиях всегда *будет* получен такой-то результат, полагает, что учел и оговорил состояния всех переменных; в последующем обнаруживаются новые переменные, ошибочно принятые за константы, и это заставляет пересматривать, иногда существенно, прежние заключения.

Признав вероятностный характер всякого знания, мы должны согласиться и с тем, что предсказание прошлого – такая же трудная задача, как и предсказание будущего. Различие же между этими научными задачами не столько в принципе, сколько в инструментариях.

К намеченным вопросам я буду систематически возвращаться в книге. Здесь же добавлю, что прогнозирование составляет условие существования всех живых организмов, и оно всегда сопряжено с возможными ошибками [Бернштейн Н.А., 1961], [Анохин П.К., 1962], [Вероятностное…, 1977]. Память – не пассивное фиксирование следов воздействий, а сложная операция по переносу переживаемого опыта в будущее. У человека эта операция, как и весь психический процесс, отличается коммуникативно-семантическим опосредованием; научное мышление отличается от обыденного использованием заранее осмысленных процедур; наконец, выделение будущего в качестве особого предмета – промежуточный итог дифференциации и интеграции научного знания, вызванный практическими потребностями эпохи. Речь должна идти не о том, возможно ли исследовать будущее, но о том, какие методы и в какой мере адекватны этой задаче.

Проблемы, связанные с отбором тенденций, подлежащих мысленному перенесению в будущее, обостряются с приближением к кризисной (полифуркационной) фазе, когда устойчивость системы снижается и, тем самым, множатся альтернативные варианты. Поэтому исследователи глобальных проблем часто отмечали, что модель будущего заведомо нереалистична, если в ней не учитываются универсальные векторы, закономерности и механизмы.

По меньшей мере, к В.И. Вернадскому и П. Тейяру де Шардену восходит традиция исследования социальной истории в междисциплинарном ключе и в органическом единстве с «дочеловеческой» историей планеты. В 20-30-х годах ученые, как правило, ограничивались планетарным масштабом, поскольку в большинстве своем все еще считали вселенную в целом бесконечной и стационарной, а следовательно, лишенной истории. И сегодня некоторые глобалисты выносят за скобки космическую предысторию, полагая ее, по всей видимости, несущественной для понимания процессов, происходящих на Земле [Зубаков В.А., 1999], [Snooks G.D., 1996].

Но в свете эволюционной космологии, построенной на фридмановских моделях Метагалактики и их новейших модификациях, обнаружилось, что развитие биосферы, в свою очередь, воплощает ряд тенденций, явственно обозначившихся задолго до образования Земли и Солнечной системы. Множатся работы, ориентированные на создание «единой теории прошлого», от Большого Взрыва до современности ([Jantsch E., 1980], [Аршинов В.И., 1987], [Ласло Э., 1995, 2000], [Моисеев Н.Н., 1991], [Назаретян А.П., 1991], [Christian D., 1991], [Spier F., 1997] [Универсальная…, 2001] и др.). В последних зарубежных публикациях это направление исследований получило название Большой истории (Big History), а в России утвердился термин «универсальный эволюционизм».

Предмет *Универсальной (Большой) истории* определенным образом соотносится с предметами Глобальной и Всемирной истории. Всемирная история изучает прошлое человечества от палеолита до наших дней. Глобальная история изучает прошлое Земли и биосферы, включая становление человечества как геологического фактора. Предмет Универсальной истории – развитие Вселенной с последовательным образованием качественно новых реальностей, так что развитие живой природы и общества оказываются фазами единого поступательного процесса. Как видим, этот предмет концептуально конструируется только в рамках эволюционного мировоззрения, хотя трактовки его могут быть различными.

По имеющимся у нас (вероятно, неполным) данным, опыт преподавания курсов Универсальной истории наработан в ряде университетов Австралии, США и Голландии, а также в Казанском [Непримеров Н.Н., 1992] и Сыктывкарском [Федорович И.В., 2000] университетах. Сам я давно работаю в данной традиции и далее подробно обосную свое убеждение в том, что на пороге XXI века только универсальный контекст адекватен задаче прогнозирования даже в масштабе нескольких десятилетий. Но, несмотря на солидный стаж преподавания в различных вузах Москвы, мне доводилось читать студентам только отдельные фрагменты и ни разу – курс целиком.

Завершая методологическое введение, коротко расскажу об инструментарии, использование которого помогает скомпоновать пестрые штрихи из различных дисциплинарных областей в единую картину универсальной эволюции.

Эта картина зиждется на продуктивном концептуальном конфликте между вторым началом термодинамики и эмпирическими данными, бесспорно свидетельствующими о поступательных изменениях от простого к сложному на протяжении многих миллиардов лет.

Второе начало термодинамики, или закон возрастания энтропии, – единственное известное классической науке асимметрическое свойство физический процессов, обеспечивающее их необратимость во времени. Все попытки дисквалифицировать этот закон или ограничить его применимость (например, за счет биотических или социальных процессов) оказались несостоятельными: при правильном выделении системы сопряженного взаимодействия снижение энтропии в одной подсистеме обязательно оплачивается ростом энтропии в другой подсистеме[3]. Тем самым неизменно подтверждается шуточное сравнение термодинамики со старой властной теткой, которую все недолюбливают, но которая всегда оказывается права.

Поскольку же *фактических* противоречий между выводами термодинамики и наблюдаемыми процессами обнаружить не удается, парадокс эволюции приобретает более глубокий, *парадигмальный* характер. С классической точки зрения, уровень организации во Вселенной должен последовательно снижаться, а не расти, как это в действительности происходит в истории общества, биосферы и Метагалактики (см. подробнее [Назаретян А.П., 1991]). Из основного естественнонаучного парадокса вытекает множество более частных, которые касаются

[3] Возможно, что законы термодинамики перестают соблюдаться в физике черных дыр, но и это допущение, принятое рядом ученых, не снимает вопрос о причинах поступательной эволюции с образованием *качественно новых* форм организации.

конкретных стадий универсальной эволюции. В их числе и упомянутый выше факт ограничения социального насилия с ростом инструментального потенциала.

Поэтому усилия ученых различных специальностей направлены на то, чтобы выявить механизмы самоорганизации в духовных, социальных, биотических и физических процессах. С тех пор, как З. Фрейд «прорубил окно в бессознательное», психологи учились фиксировать превращение хаотических импульсов в культурно адекватное мышление и поведение человека. Исследователи творческой активности постоянно обнаруживают, как стройные научные теории, изящные математические построения, художественные и поэтические формы выкристаллизовываются из беспросветного тумана мистических идей и подавленных желаний («Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» [Ахматова А.А., 1990, с. 196]). Обществоведы изучают превращение бесструктурных социальных конгломератов в организованно действующие группы и развитие от враждующих между собой первобытных стад до современных надгосударственных учреждений. Биологи – филогенез и онтогенез многоклеточных организмов и усложнение биоценозов. Космологи – формирование звездных систем из однородного вещества, а также ядер, атомов и сложных молекул из кварко-глюонной плазмы.

Столь разнородный фактический материал требовал обобщения. Единая наука о самоорганизации в Германии была названа синергетикой (Г. Хакен), во франкоязычных странах – теорией диссипативных структур (И. Пригожин), в США – теорией динамического хаоса (М. Фейгенбаум). В отечественной литературе принят преимущественно первый термин, наиболее краткий и емкий, а также «нелинейная динамика» (С.П. Курдюмов).

Синергетика – одна из междисциплинарных моделей, которую пронизывает парадигма элевации: эволюционно ранние процессы рассматриваются с учетом эволюционно поздних, прошлое через призму будущего. Это дало повод некоторым авторам противопоставить ее кибернетической теории систем, изучающей в основном механизмы стабилизации и отрицательные обратные связи. Но такой способ спецификации предмета синергетики стал вызывать сомнения постольку, поскольку обнаружилась взаимодополнительность категорий самоорганизации и управления, неравновесия и устойчивости и т. д. Эволюционный процесс может быть преемственным и последовательным, благодаря способности неравновесных образований – продуктов самоорганизации – к активному сохранению посредством внешнего и внутреннего управления, конкуренции за свободную энергию необходимую для антиэнтропийной работы и отбору в соответствии с потребностями экологической ниши.

В свою очередь, управление, конкуренция и отбор неотделимы от таких категорий, как субъект, цель, информация, ценность, оптимальность и т. д. Согласно с тенденциями постнеклассической методологии, все категории подобного рода вовлекаются в интегральную системно-синергетическую модель, и в современной версии синергетика как наука о самоорганизации превращается в *науку об устойчивом неравновесии.*

Это полностью соответствует тезису о развитии как функции сохранения, который обозначен выше и будет подробнее раскрыт в последующем. Системно-синергетическая модель способствует совокупному решению трех концептуальных задач. Во-первых, свободному от телеологии пониманию векторности эволюции. Во-вторых, единой трактовке эволюционных новообразований (жизнь, общество, культура и т. д.) с богатым потенциалом теоретических обобщений – выявления малоизвестных механизмов и закономерностей. В-третьих, «субъюнктивизации» эволюционного мировоззрения, т. е. превращению футурологии и истории в сквозную сослагательную науку, обеспеченную соответствующим аппаратом.

Для решения последней из перечисленных задач – разработки сценарного подхода к анализу неравновесных систем – выделилось особое направление, которое Л.В. Лесков [1998 – а, б] предложил назвать *футуросинергетикой.* Как видно из семантики термина[4], футуросинер-

[4] Со строго лингвистической точки зрения, термин не вполне корректен, так как складывается из латинского и греческого

гетика нацелена прежде всего на исследование будущего. Но, поскольку множество альтернативных вариантов образуется в каждой критической (полифуркационной) фазе социального или природного развития, то методы футуросинергетики применяются также для построения «ретропрогнозов», т. е. изучения исторически не реализовавшихся сценариев.

Таким образом, тип мышления характерный для грамотного футуролога («что будет, если?..») становится доступным историку («что было бы, если бы?..»). Синергетическое моделирование позволило строго доказать, что даже в точках неустойчивости может происходить не «все что угодно»: количество реальных сценариев, называемых иначе параметрами порядка, всегда ограничено, и коль скоро события вошли в один из режимов, система необратимо изменяется в направлении соответствующего конечного состояния. Это квазицелевое состояние (аттрактор) подчиняет себе все последующие события, и как бы мы ни желали вернуться в исходную фазу или перейти к другому, более благоприятному аттрактору, осуществить это уже не удастся.

То, что множество сценариев в каждой критической точке ограничено, – открытие синергетики. Оно позволяет осмысливать прошлое в сослагательном наклонении, а в перспективе «просчитывать» на компьютерных программах пространство исторически возможных (виртуальных) миров на всем протяжении социальной, биологической и космофизической эволюции [Малинецкий Г.Г., 1997], [Назаретян А.П., 1997], [Лесков Л.В., 1998-а].

На первый взгляд, это может показаться не более чем занятным развлечением. На самом же деле сценарный анализ переломных эпох открывает большие и еще не полностью оцененные возможности как для исторической теории (без сослагательного наклонения нельзя корректно поставить вопрос о причинности), так и для практики. В частности, ясное представление о вероятностных контекстах каждого реализовавшегося сценария помогает обобщить исторический опыт кризисов, исследовать факторы их углубления и разрешения и использовать полученные выводы для прогнозирования очередных кризисов, выработки реалистических стратегий и диагностики утопий.

Различие между реалистическими и утопическими проектами не в том, что первые возможно воплотить в жизнь, а вторые нет. Утопии тем и опасны, что они осуществимы; самые близкие нам примеры – «построенный в боях социализм» и затем ожидание рыночного рая на его обломках. Характерной чертой утопического мышления служит гипертрофирование позитивных и игнорирование негативных последствий того или иного выбора.

Синергетика дисциплинирует научную мысль, приучая историка не искать идиллий в прошлом, а футуролога – идеальных решений в будущем. Уяснив, что любой успех непременно оплачивается потерями, аналитик осваивает конструктивистские категории «меньшего из зол», паллиатива и оптимальности.

* * *

Очертив таким образом круг идей, на которых выдержано настоящее исследование, добавлю, что структура изложения соответствует элевационной логике. Книга начинается обзором дискуссий о состоянии и перспективах планетарной цивилизации, о путях и проектах преодоления грядущих кризисов. Обсуждение прогнозов и проектов, подчас взаимоисключающих, поможет определить задачи ретроспективного анализа таким образом, чтобы его результаты послужили основой для оценки и отбора правдоподобных сценариев.

Для этого необходимо выяснить, по каким векторам до сих пор развивались события социальной, биологической и космо-физической истории, почему они сопровождались пери-

---

корней. Но с тех пор, как европейская наука усвоила изобретенный О. Контом термин «социология», она (наука) утеряла изысканную чувствительность к подобного рода варваризмам.

одическим обострением кризисов, какими средствами кризисы преодолевались и, наконец, насколько исторический опыт способствует ориентировке в нынешних проблемах.

При подготовке рукописи мне оказали большую помощь друзья и коллеги, работающие в различных дисциплинарных областях: математике, физике, геологии, географии и астрономии (А.Д. Арманд, Л.М. Гиндилис, В.С. Голубев, Ю.А. Данилов, В.В. Клименко, В.Н. Компаниченко, Е.П. Левитан, Л.В. Лесков, А.М. Тарко); биологии и генетике (С.А. Боринская, В.И. Жегалло, А.Е. Седов); антропологии и истории (А.М. Буровский, И.Н. Ионов, А.А. Казанков, А.В. Коротаев, Э.С. Кульпин, Э.В. Сайко, С.И. Семенов, В.В. Согрин, П.А. Федосов, G. Chick, F. Spier, D. Christian); психологии (В.Ф. Петренко, А.У. Хараш); философии и культурологии (В.М. Акопян, В.З. Арушанов, В.И. Аршинов, К.Х. Делокаров, К.А. Зуев, В.М. Мапельман, Н.И. Полякова, Н.А. Хренов). Разумеется, все эти ученые не несут никакой ответственности за содержание книги, но их оценки, замечания и советы помогли выстроить аргументацию и избежать неточностей.

Очерк I
В зеркале двух веков
Предварительные оценки и сценарии

1.1. Двадцатый век, суровый и милосердный

Никогда прежде в истории не было, чтобы жизнь или смерть такого огромного количества людей зависела от такой малой кучки правителей.
П.А. Сорокин (1959 год)

Третьей мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что от мира камня на камне не останется.
Народный юмор (конец 60-х годов)

Оглядываясь на отгремевшее столетие, рискну дать ему определение, которое может показаться неожиданным: это был первый в истории *век осуществленного гуманизма.* Большая часть его грандиозных достижений и издержек суть проявления достоинств гуманистической идеи, продолжившихся, по логике вещей, ее недостатками.

Прежде чем аргументировать приведенный тезис, попробую операционализовать понятие гуманизма, трактуемое подчас весьма расплывчато, а также разобраться, почему он (тезис) звучит столь непривычно.

Концепция гуманизма, имеющая глубокие корни в различных культурах мира (см. [Фромм Э., 1990], [Васильев Л.С., 1994], [Сагадеев А.В., 1994], [Семенов С.И., 1995], [Puledda S., 1997]), оформившаяся в Италии XIV–XV веков, прошедшая ударной волной по Европе в XVI веке и развитая прогрессистами и просветителями XVII–XVIII веков, содержит три фундаментальные установки. Во-первых, человек физически и духовно совершенен, занимает привилегированное положение в природе и призван стать ее «хозяином и властителем» (Р. Декарт). Во-вторых, каждый человек есть «модель мира» (Леонардо да Винчи), и потому принадлежность к роду наделяет индивида всей полнотой способностей и прав независимо от этнических, конфессиональных, классовых и прочих различий. В-третьих, человеческий разум способен преобразить созданный Богом мир, сделать его «значительно более прекрасным», перестроив «с гораздо большим вкусом» (Дж. Манетти).

Если первые две установки перекликаются с некоторыми идеями прежних мыслителей и религиозных мессий (отличаясь большей четкостью и безусловностью акцентов), то третья, ориентирующая на сознательное улучшение божественного мира, – абсолютно оригинальна. Эта гуманистическая «ересь» составила ядро нового миропонимания и концептуальную предпосылку Нового времени. Она сделала социально поощряемой инновационную мотивацию, всячески подавлявшуюся традиционными культурами, раскрепостила творческий потенциал и стимулировала конструктивную активность[5]. Последняя, в свою очередь, вырвала Европу из тисков сельскохозяйственного кризиса позднего Средневековья, сделав ее мировым лидером в области не только технологических, но и гуманитарных идей.

---

[5] В более развитой и завершенной версии гуманизм, отбросив богословскую оболочку, превратился в последовательно светское мировоззрение. Человек не создан по чужому образу и подобию, не произведен и не подсуден верховному субъекту: он сам, его дух, мышление, воображение и воля – высшие реальности развивающегося мира.

То, что тезис о практическом воплощении гуманизма заметно расходится с привычным представлением о XX веке, обусловлено, на мой взгляд, свойствами обыденного восприятия и памяти, обаянию которых нередко поддаются также профессиональные ученые и философы. В частности, психологами описан феномен ретроспективной аберрации: растущие ожидания, искажая оценку динамики социальных процессов, рождают неудовлетворенность настоящим и иллюзорные воспоминания о прошлом золотом веке.

Сто лет назад почти все, кому было знакомо понятие «человечество», подразумевали под этим едва ли не исключительно носителей европейской культуры, и даже для демографов, изучавших население Франции, России или США, словосочетания «население мира», «население Земли» звучали еще непривычно [Сови А., 1977]. В данном смысле можно сказать, что человечество вступило в XX век с надеждой на безоблачный технический прогресс, растущее благополучие и взаимопонимание между народами. На таком фоне две мировые и несколько гражданских войн, концлагеря, забытый было ужас массовых геноцидов (Энвер-паша, Гитлер) и Хиросима произвели шок и вызвали представление о необычайной жестокости эпохи.

Действительно, по нашим расчетам, в XX веке на Европу пришлось не менее 50 % военных жертв всего мира (причем почти все в первой половине века), тогда как в XIX веке – до 15 %. Например, во всех колониальных войнах XIX века погибли 106 тысяч европейцев и миллионы туземцев [Урланис Б. Ц., 1994]. Пока солдаты сражались в экзотических краях, жителям метрополий казалось, будто войны с их жестокостью ушли в прошлое. Но с исчерпанием резервов экстенсивного роста эпицентр силовых конфликтов переместился в Европу, а испытанное европейцами потрясение задало эмоциональный тон общепринятым оценкам «кровавого века». Хотя, как было показано во вводном очерке, процент жертв насилия от общей численности населения планеты на протяжении XX века был не выше, а, вероятно, ниже, чем в предыдущих веках. Но ни один из них не начинался столь массовыми оптимистическими ожиданиями…

После мировых войн ожидания изменились кардинально: доминантой массового сознания сделался страх перед тотальным ядерным конфликтом. В 50-60-е годы такой конфликт представлялся почти неизбежным, причем считалось, что большая часть человечества погибнет в первые же дни или недели, а оставшиеся вымрут в пораженной радиацией атмосфере. «Всеобщая гибель в огне угрожает теперь каждому из нас, и огонь этот может вспыхнуть в любой момент» – писал в 1963 году один из крупнейших социологов века [Сорокин П.А., 1991]. Это мироощущение захватило ученых, художников и обывателей. Во всю мощь ломающихся подростковых голосов зазвучали лозунги: «Любовь – сейчас!», «Свободу – сейчас!» (love now, freedom now), ибо «потом» уже не будет.

К 70-м годам страх потерял прежнюю остроту. Сказались психическая адаптация, а также то, что ряд острейших кризисов (Карибский, Ближневосточный) удалось разрешить политическими средствами. В новой социально-психологической обстановке ученые привели доказательства того, что атмосфера способна отторгать радиацию и, следовательно, в атомной войне погибнет не все человечество, а «только» несколько сот миллионов. Правда, в начале 80-х годов независимые группы исследователей в СССР и в США продемонстрировали на компьютерных моделях другой сценарий ядерного Апокалипсиса: поднятые чудовищными взрывами и пожарами тучи пыли и пепла на несколько месяцев перекроют доступ солнечных лучей, сделав невозможным сохранение сложных форм жизни на Земле [Моисеев Н.Н. и др., 1985]. Но к тому времени многие люди уже поверили в способность политических лидеров избежать катастрофического поворота событий.

В результате принято считать, что в XX веке произошли только две мировые войны. Понятие «холодная война» воспринимается как журналистская гипербола, хотя число человеческих жертв в ее процессе соизмеримо с предыдущими «горячими» войнами. Но эти жертвы

растянулись на четыре с половиной десятилетия и географически рассредоточились. А главное, они оказались несравнимы с ожидавшимися сотнями миллионов и миллиардами.

И здесь уже по-новому проявилось свойство селективности массового сознания. Память цепко зафиксировала эмоциональный шок первой половины века и страхи второй его половины, а тот факт, что самые страшные опасения не подтвердились, оставила за скобками.

Между тем последний факт имеет решающее значение для оценки итогов столетия. Из прежней истории известны примеры более или менее сознательного неприменения средств, которые могли бы быть полезны в бою. Китайцы столетиями использовали компас, порох, нефть и прочие перспективные в военном отношении находки для игрушек, фейерверков, лекарств и бытовых удобств. Японские самураи в XVII веке отказались от огнестрельного оружия, сочтя его недостойным истинного бойца. Еще раньше один из французских королей велел отрубить голову изобретателю автоматического «стреломета», сочтя, что такое оружие превратит войну в скучное занятие. Поступи он иначе – и, возможно, в Европе также не получило бы распространение огнестрельное оружие, на первых порах чрезвычайно громоздкое, малоэффективное и презираемое опытными воинами [Дьяконов И.М., 1994]. Судя по всему, пренебрежительное и часто дисквалифицирующее отношение к военно-техническим инновациям характерно для прежних эпох. Этнографами описаны также случаи, когда палеолитические племена, изолировавшись, забывали оружие, использовавшееся их предками (лук со стрелами и т. д.) [Diamond J, 1999].

Но все примеры подобного рода – лишь отдаленные аналоги тех фактов, которые имели место в XX веке. Речь идет об отказе от применения наиболее убойных видов оружия исключительно из-за их чрезмерной убойности. Такие факты нельзя не учитывать при характеристике политического мышления эпохи.

На исходе Второй мировой войны нацисты, самые одиозные из монстров столетия, даже под угрозой безоговорочного поражения и личной гибели, все же не посмели массированно применить боевые химические снаряды. С появлением атомных бомб такие жесткие политики, как Г. Трумэн, И.В. Сталин и их окружение, сумели выстроить систему международных отношений достаточно гибкую, чтобы избежать прямого военного столкновения сверхдержав.

Следует подчеркнуть, что этот бесспорный успех политиков и народов, пока не получивший, по-моему, заслуженной оценки, был подготовлен глубокими историческими сдвигами в общественном сознании.

В XVII–XVIII веках христианские гуманисты (Б. Лас Касас, Эразм Роттердамский), вступив в известное противоречие с официальной религиозной доктриной, проповедовали единство людей независимо от верований и греховность войны как таковой. Политиками предлагались рецепты регулирования международных конфликтов посредством систематических конгрессов (Г. Гроций), добровольного объединения европейских государств в свободную от войн конфедерацию (Генрих IV). Философы XVIII века связали перспективу установления «вечного мира» с предварительной сменой государственного и (или) общественного устройства (Ж.Ж. Руссо, И. Кант и др.). В XIX веке эти идеи, совершенствуясь в полемике с сильными оппонентами (Г.В.Ф. Гегелем, Ф. Ницше), овладевали общественным сознанием. По свидетельству М.А. Энгельгардта [1899-а], среди его современников уже преобладало мнение, что «война есть зло, но… зло неизбежное».

Квалификация войны как зла к началу XX века стала общепринятой среди европейцев, хотя общество и политические лидеры почти не ведали иных механизмов объединения кроме как через размежевание: образ общего врага обеспечивал солидарные действия племен, государств, классов, партий на протяжении всей предыдущей истории[6].

---

[6] Даже в XX веке мемуаристами описаны характерные эпизоды, когда за предложением заключить союз следовал вопрос: «Против кого?» – и если вопрос не получал взаимоприемлемого ответа, союз не складывался. Поэтому А. Гитлер, изрекая,

Но в 1919 году была образована первая в истории международная организация, принципиально не направленная против третьих сил (Лига Наций), и в ее документах отчетливо зафиксировано, что война – это не нормальная деятельность государства, не продолжение политики, а катастрофа [Рапопорт А., 1993]. Хотя Лига Наций не смогла воспрепятствовать началу новой мировой войны, мысль о необходимости ликвидировать войну как форму политического бытия становилась достоянием массового сознания. К антивоенным настроениям вынуждены были адаптироваться самые воинственные идеологии, спекулировавшие лозунгами «последнего решительного боя» ради дальнейшего вечного мира. Для этого требовалось установить всемирную диктатуру пролетариата, власть высшей расы или истинной веры.

Здесь также прослеживаются аналогии с предыдущими эпохами: мировые религии насаждались огнем и мечом под аккомпанемент проповедей о грядущем Царстве Божием. Но симптоматично изменение риторики. Реанимация квазирелигиозных мотивов в XX веке обосновывалась не столько мистической, сколько социальной прагматикой. Ссылки на Божье вознаграждение-наказание, Страшный Суд и проч. остались уделом полубезумных сектантов, а политически продуктивная демагогия строилась на доказательстве практических достоинств навязываемой идеологии. Люди станут жить мирно и счастливо, ликвидировав эксплуататорские классы. Несовершенные нации заживут спокойнее, покорившись всесокрушающей воле и разуму арийцев. Правильной, справедливой и безопасной сделает жизнь народов утверждение исламских ценностей… Более или менее изощренные мимикрии под гуманизм отличали даже такие идеологии XX века, которые по содержанию были с ним абсолютно несовместны. Что же касается коммунизма – самой влиятельной и амбивалентной из идеологий, – то мимикрия почти не требовалась: сердцевину мировоззрения составляло убеждение в величии и достоинстве человека, его могуществе и безусловной ценности труда по преобразованию несовершенного мира (социального и природного). Едва ли не большинство выдающихся интеллектуалов первой половины столетия так или иначе переболели этой красивой идеей, симпатизируя ее носителям и не замечая гримас ее практического воплощения.

Парадоксально и влияние гуманистических установок на инновационную мотивацию в сфере военных технологий. Если прежде новшества оценивали негативно и иногда отвергали из-за несоответствия боевому духу, то теперь логика обернулась: новое оружие оправдывали необходимостью минимизировать жертвы. Уже на подходе к XX веку изобретатели станкового пулемета (Х. Максим), динамита (А. Нобель), первых подводных лодок и т. д. тешили себя надеждой, что их детища обессмыслят войну.

Уверенность в том, что наращиванием убойной мощи возможно искоренить силовые конфронтации, вдохновляла творческую активность инженеров или, по крайней мере, служила психологической и социальной рационализации. До середины XX века жизнь последовательно развенчивала такие надежды, но дальнейший ход событий позволяет думать, что они были не совсем вздорными. Во всяком случае, «равновесие страха» помогло удержать противостоящие блоки от прямого столкновения, хотя холодная война оставила в наследство исторически беспрецедентную ситуацию, когда человечество может быть уничтожено действиями ограниченного числа индивидов.

Это один из бесчисленных примеров, демонстрирующих, сколь тесно переплетены в реальной жизни «добро» и «зло», как часто достижения оборачиваются потерями и наоборот. Примерами подобного рода особенно изобилует прошедшее столетие.

Еще одна группа примеров связана с заметным ростом материального благосостояния, информационных возможностей и средней продолжительности жизни людей практически во всех регионах планеты. Проще всего объяснить эти показатели развитием технологий, в том

что коалиция, не имеющая целью войну, бессмысленна, как юродивый, озвучивал общеизвестную истину, признавать которую считалось уже неприличным.

числе медицинских. В действительности, однако, они отражают очень существенное изменение ценностей и, в первую очередь, возросшее внимание общества к человеческой жизни – жизни не отдельных высокородных отпрысков, а каждого индивида вне зависимости от пола, возраста, классовой или этнической принадлежности.

В противовес этому утверждению можно указать на неравномерное распределение благ, различие в уровнях детской смертности и продолжительности жизни, удручающие условия – антисанитария, хроническое недоедание, – в которых живут значительные группы населения. Сложные экономические расчеты [Мельянцев В.А., 1996], [Фридман Л.А., 1999] показывают, что с 1800 года до конца XX века разрыв в подушевом ВВП между наиболее развитыми и развивающимися странами возрос в 50–60 раз и продолжает увеличиваться.

Здесь, однако, следует обратить внимание на два обстоятельства.

Первое состоит в том, что авторы, демонстрирующие тяготы существования в бедных странах только с целью обосновать справедливую неудовлетворенность наличным положением дел, ограничиваются констатацией фактов в синхронном срезе; обращение к исторической диахронии (сравнение не с продвинутыми современными показателями, а с прежними эпохами) дезавуировало бы их аргументацию. Указывая, например, сколько людей в мире живут ниже установленного по западным нормам уровня нищеты и сколь высока детская смертность в той или иной стране, полностью обходят вопрос, жили ли предки нищенствующих ныне людей богаче и удавалось ли их прабабушкам вырастить больший процент рожденных детей.

Между тем, обратившись к сведениям из истории и этнографии, мы убедимся, что благосостояние, санитарные и прочие условия жизни, ее средняя продолжительность – все эти показатели даже в отсталых регионах к концу XX века превосходили аналогичные показатели прежних эпох. Причем не только по тем же регионам, но и по процветающим ныне странам. Так, в средневековой Европе лишь около 20 % родившихся детей давали затем собственное потомство. Голод и регулярные эпидемии до конца XVIII века ограничивали среднюю продолжительность жизни 23 годами (данные по Франции) [Арьес Ф., 1992], [Шкуратов В.А., 1994]. Совокупная же оценка средней продолжительности индивидуальной жизни на протяжении всей истории человечества не превышает 20 лет [Капица С.П., 1995], [Арский Ю.М. и др., 1997]. Нынешний разрыв в материальных доходах и условиях жизни есть следствие не ухудшения обстановки в бедных странах, а того рывка, который совершили страны Европы и Северной Америки за два-три столетия, а некоторые страны Азии – всего за несколько десятков лет.

В данной связи еще более важным представляется второе обстоятельство: технологический и экономический прогресс в регионах-лидерах дает вполне ощутимые результаты и в регионах-аутсайдерах. Те же расчеты, которые отражают растущий разрыв между такими регионами, обнаруживают совсем иную картину при переходе от сугубо экономического к «человеческому» измерению, включающему детскую смертность, ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности, доступность информации и т. д. Динамика этих индикаторов отчетливо демонстрирует сокращающуюся дистанцию между полюсами [Фридман Л.А., 1999].

На протяжении XX века практически во всех регионах планеты люди стали жить в среднем значительно (до 2 раз) дольше, будучи стабильнее обеспечены питанием, имея лучший доступ к медицине, образованию и информации, чем когда-либо ранее. Труднее поддаются оценке политические показатели. Мы можем оспорить конкретные критерии, по которым эксперты газеты «Нью-Йорк Таймс» рассчитали количество людей, живущих в условиях демократии и диктатуры (соответственно 3,1 млрд. и 2,66 млрд.) и дали основание президенту У. Клинтону в инаугурационной речи 1996 года заявить, что впервые в истории человечества «демократическое» население составляет большинство (см. [Schlesinger A., 1997]). Но бесспорно то, что за сотню лет число землян увеличилось в 3,5 раза и, благодаря вовлечению многоэтничных масс в глобальный исторический процесс, небывало возросли объем и содержание понятия «человечество».

К.А. Тимирязев [1949, с.596] писал, что вся разумная деятельность человека есть «борьба с борьбой за существование». Развивая эту мысль, Б.Ф. Поршнев [1974] усматривал в противоборстве с естественным отбором сущность социальной истории. Сегодня можно добавить, что XX век стал эпохой решающей победы над этим жестоким природным регулятором. Вместе с тем он окончательно вытеснил на периферию общественной жизни архаические формы искусственного отбора.

Этнографическая литература полна сообщений о том, с какой легкостью первобытные племена отделываются от «лишних» детей, особенно женского пола, – путем прямого убийства, жертвоприношений, оставления беспомощных младенцев на покидаемых стоянках (где они становятся легкой добычей хищников) и т. д., – что служит одним из средств демографического регулирования [Леви-Брюль Л., 1930], [Леви-Стросс К., 1984], [Фрэзер Дж., 1983], [Clastres P., 1967], [Diamond J., 1999]. В посленеолитических культурах инфантицид не носил столь массового характера. Хотя такая традиция сохранялась и в дальнейшем, случаи жертвоприношения детей сопровождались уже, как правило, эмоциональными переживаниями родителей. Это отчетливо отражено во многих текстах, включая Коран, Ветхий и Новый Завет.

Еще в середине XX века из некоторых скотоводческих племен Ближнего Востока от путешественников поступали сведения о страшном древнем обычае приносить в жертву старшего сына хозяина в честь особенно важного гостя. В конфуцианском Китае три дня после рождения младенец не считался человеком, и его умерщвление не осуждалось юридически или морально; когда же в 70-е годы XX века китайское руководство волевым указом ограничило численность семьи одним ребенком, некоторые молодые родители стали уничтожать первенцев-девочек, чтобы в последующем иметь мальчика [Шафаревич И., 1988]. Это приобрело такой размах, что обернулось статистически значимым (в миллиардном Китае!) изменением соотношения мужчин и женщин, родившихся в 70-е годы.

Более изощренной формой инфантицида служат различные степени «пренебрежения» к жизни нежелательных детей, повышающего вероятность их гибели. Например, демографы указывают, что превосходство в продолжительности жизни женщин над мужчинами характерно для развитых культур западного типа (или успевших в значительной мере усвоить современные западные ценности), тогда как в странах с традиционной культурой соотношение обратное. В Объединенных Арабских Эмиратах девочки и женщины всех возрастов составляют только 35,1 % населения. Низок процент женского населения и в других исламских странах, в странах Южной Азии, в Китае, Таиланде и т. д. Это объясняется гораздо большей заботой взрослых о жизни и здоровье детей мужского, чем женского пола [Hays D., 1995].

Конечно, от традиций прямого и косвенного инфантицида не были свободны в прошлом ни Западная, ни Восточная Европа. Вот как Л.Н. Толстой [1993, с.7] описывает в «Воскресении» историю Масловой-старшей, матери Катюши: «Незамужняя женщина эта рожала каждый год и, *как это обычно делается по деревням* (курсив мой – *А.Н.*), ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося, не нужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода». А уже в начале XX века В.В. Вересаев [1988, с.274], пересказывая беседу со старым псковским крестьянином, ругавшим медиков за то, что те спасают больных детей и мешают Богу «сокращать семейство», записал поразительную народную поговорку: «Дай, господи, скотину с приплодцем, а деток с приморцем»…

Здесь уместно прибегнуть к точечному сопоставлению событий и особенно тех чувств, которые люди испытывают при столкновении с ними. Такой прием не полностью отвечает требованиям строгой науки и, конечно, не может служить самостоятельным аргументом. Но в качестве дополнительной иллюстрации он подчас доходчивее, чем статистические выкладки, демонстрирует историческую динамику ценностных систем.

> Читая изредка в газетах про опустившуюся алкоголичку, угробившую собственного младенца, про маньяка-людоеда или про действия агрессивной

толпы, мы видим в таких фактах симптомы предельной человеческой деградации. Нашему современнику, не изучавшему специально этнографию и историю бытовых отношений, трудно представить себе, что эпизодические ныне случаи детоубийства, людоедства и прочих проявлений животной жестокости нормативны для иных культурно-исторических эпох.

Например, в большинстве стран отсутствует законодательный запрет на людоедство: считается, что у «нормального» человека такое желание возникнуть не может. Мне знакома история мерзавца, который насиловал, убивал и съедал своих жертв. С большим трудом удалось его выследить, задержать и доказать каждый эпизод. Но красноречивый адвокат смог убедить судей, что поедание человеческого мяса – признак невменяемости, и уголовное наказание преступника было заменено «лечением». В Австралии же, где традиции туземцев делают проблему гораздо более актуальной, только в 1959 году правительство начало принимать систематические меры против каннибализма. Прежде этому противились правозащитники, считавшие недопустимым навязывать аборигенам жизненные нормы европейских переселенцев. Но решающим импульсом стала эпидемия специфической «болезни людоедов»: смертоносный вирус, передающийся через человеческое мясо (особенно мозговое вещество), грозил полностью уничтожить крупное племя *куру* в Новой Гвинее (бывшей тогда австралийским протекторатом, и правительству пришлось вмешаться [Diamond J., 1999].

Добавлю, что нормативное людоедство – не исключительная особенность палеолитических племен. В ряде регионов (Африка, Америка) оно сочеталось с рабовладением, в том числе и развитым. Африканские вожди, продавая соплеменников европейским работорговцам, были уверены, что отдают их на съедение, и недоумевали, узнав, что белые людей не едят. В государстве ацтеков самые изысканные блюда для высшей знати, готовились исключительно из человеческого мяса [Энгельгардт М.А., 1899-б]. Другие регионы Земли вроде бы оставили каннибализм за порогом неолита, но, например, в «Песни о Нибелунгах» спокойно рассказано о том, как рыцари утоляют жажду на поле боя кровью поверженных врагов…

В 1998 году мировое телевидение облетели кадры публичных расстрелов в Чечне. Комментаторы драматическими голосами говорили о варварстве, а один из них, вспомнив про сходные традиции в ряде мусульманских стран, даже прозрачно намекнул на «особенность исламского менталитета». Между тем историки сообщают, что еще в первой половине XIX века публичные казни оставались любимым развлечением лондонцев. Не прошло и полутора веков с тех пор, как Англия отказалась от практики публичных казней (с 1870 года). Некоторые европейские страны последовали этому примеру еще позже, но и в первой половине XX века эсэсовцы (и не только они) строили виселицы на площадях восточноевропейских городов. В конце века публичные казни уже казались почти невообразимым кошмаром…

В конце XX века трудно было представить себе правительство, которое бы *официально* поощряло уничтожение инородцев без суда и следствия. Сотней лет ранее в странах Америки не только отравляли пруды «в видах изведения дикарей», но и публиковали таксы премий за скальпы индейцев: мужского, женского и детского. Так, в 1887 году власти Калифорнии сулили «двадцать долларов за скальп индейца с ушами» [Энгельгардт М.А., 1899-б, с. 159–160]…

В 1918 году группа большевиков расстреляла царскую семью, предотвратив ее захват наступавшей Белой армией. Расстреляли подло, «исподтишка», тщательно замели следы, и затем их единомышленники всячески избегали упоминать про неудобную тему. А тремя столетиями ранее, в 1614 году, на московской площади повесили четырехлетнего мальчика – сына Марины Мнишек и Лжедмитрия [Соловьев С.М., 1963], – и стрельцы сгоняли народ к месту казни, чтобы никто не болтал потом, будто ребенок выжил…

По В.О. Ключевскому [1958], в процессе петровских реформ погиб каждый пятый житель России. Но это не помешало потомкам ставить памятники великому царю, а специальные исследования показали, что в середине 90-х годов XX века для массового сознания россиян это был самый авторитетный из исторических персонажей. Если считать корректно (не абсолютные числа, а проценты), то правление Сталина уступает по трагическим последствиям, но Сталин в наших глазах – тиран и убийца. Нечто подобное мы обнаруживаем при сравнении многих политических преступников XX века с героями прежних эпох. Все это свидетельствует о том, что, отвергая наивный тезис о «прогрессе» в человеческих отношениях, большинство наших современников интуитивно пользуется различными нравственными критериями для оценки событий недавнего и отдаленного прошлого. А собственная эпоха видится нам необычайно жестокой прежде всего потому, что не отвечает опережающему росту ожиданий.

Феномен ретроспективной аберрации проявляется, конечно, не только в политических или макросоциальных оценках. Психологи, педагоги и публицисты, указывая на факты жестокости в семейных отношениях и приводя статистику детских самоубийств, пишут о *возросшей* агрессивности или «небывалом» безразличии со стороны родителей, т. е. выносят безосновательные суждения об исторической динамике. Возросшие требования и критерии вытеснили из памяти хорошо известное обстоятельство, состоящее в том, что телесные наказания дома, а затем и в школе служили основным воспитательным средством на протяжении столетий. «Сбережешь розги – испортишь дитя», – учили еще в XIX веке английские педагоги. Обратившись к сведениям из истории, культурологии и исторической социологии [Кон И.С., 1998], мы легко убедимся: в массе своей семейные отношения сделались значительно мягче и «цивилизованнее», но наших современников, в том числе совсем юных, шокирует и психологически травмирует многое из того, что прежними поколениями воспринималось как должное…

Итак, хотя суровая реальность родного для нас столетия сильно отличалась от лучезарных картин, рисовавшихся воображению прогрессистов и просветителей, не стоит недооценивать его великих заслуг именно в гуманитарной сфере. В XX веке были заметно усовершенствованы механизмы ограничения социального насилия, вовлечения масс в политическую активность, а также протекции человеческого организма от неблагоприятных природных факторов. Но параллельно росла неудовлетворенность, обусловленная опять-таки специфическими феноменами социальной психологии – эффектом призмы (ретроспективная аберрация) и эффектом зеркала[7]. Еще важнее здесь повторить, что воплощение в жизнь гуманистиче-

[7] Первый, как выше отмечено, состоит в том, что восприятие исторической динамики искажается опережающим ростом ожиданий. Второй – в том, что люди оценивают качество своей жизни через сравнение с жизнью других. В середине 60-х годов

ских установок несло с собой комплекс новых трудных проблем, оставленных в наследство XX веком.

О военно-политической стороне дела выше упоминалось. Ведущие государства, сумев воздержаться от прямого столкновения за счет переноса противоречий в русло локальных военных конфликтов, накопили ядерные боезаряды, совокупная взрывная мощь которых эквивалентна 1,2 млн. хиросимских бомб [Довгуша В.В., Тихонов М.Н., 1996]. С разрушением двухполюсного мира сдерживающие механизмы заметно ослабли, а соблазн произвольных действий, обеспечивающих сиюминутную политическую выгоду, возрос. Одновременно ядерным оружием овладевают народы, чьи лидеры не обременены опытом ответственности, который успели приобрести политические элиты «классических» сверхдержав.

Повысилась и вероятность применения гораздо более дешевых видов нетрадиционного оружия – бактериологического и токсинного. Кроме того, развитие новых видов оружия, а также форм политического терроризма делает все более проблематичным удержание вооруженных столкновений в локальных рамках. Все это является побочным следствием широкого доступа к образованию, научно-техническим знаниям и умениям и заставляет говорить не только о сохраняющейся, но и об усиливающейся опасности глобальной катастрофы.

Химическое, бактериологическое и особенно ядерное оружие, культурно-политическое противодействие которым составило лейтмотив человеческой истории за последние полвека, создавались в сверхсекретных государственных лабораториях и тщательно охранялись. Доступ к сырью и информации был жестко ограничен, а производство требовало больших финансовых затрат. В XXI веке ситуация решительно меняется. По прогнозам специалистов, скоро появятся такие виды оружия, основанного на генной инженерии, робототехнике и нанотехнологиях[8], для производства которых не нужно значительного объема сырья и финансов, достаточно обладать определенным набором знаний и умений. Эти технологии несут с собой грандиозные созидательные возможности и баснословные прибыли, но, как большинство технологических новшеств в истории, их легче использовать для разрушения, чем для созидания. С углублением же рыночных отношений научно-технологические лаборатории выскальзывают из-под контроля правительств и становятся достоянием частных корпораций, малых групп и отдельных лиц.

Таким образом, по словам известного ученого и компьютерного инженера Б. Джоя [Joy B., 2000], на смену оружию массового поражения приходят «знания массового поражения». Он отмечает, что управление материей на атомном уровне (нано-технологии) даст необычайные эффекты при лечении рака и других болезней, очищении среды и обеспечит общество беспримерно дешевой энергией. Вместе с тем нанотехнологию возможно использовать для выборочного разрушения географических зон или поголовного уничтожения людей с определенными генетическими признаками. А это уже новый виток в гонке вооружений, неподконтрольный государственным учреждениям и трудно поддающийся регулированию конкретными международными соглашениями.

Более того, существует опасность, что нанобактерии-убийцы ускользнут вообще из-под человеческого контроля (например, вследствие какого-либо недоразумения в лаборатории). Тогда они, будучи меньше, агрессивнее и эффективнее живых бактерий, способны за считанные дни уничтожить белковую жизнь на Земле. Об этом еще в 80-х годах предупреждал пио-

---

XX века покупательная способность чернокожих граждан США была такой же, как у граждан Канады, а процент учащихся в колледжах превышал соответствующий процент среди жителей Британских островов. Но афроаме-риканцы проявляли недовольство своим положением, поскольку сравнивали его с жизнью не канадцев, англичан или тем более африканцев, а своих белых соотечественников [Петтигрю Т., 1972].

[8] Нанометр – миллиардная доля метра – размер соизмеримый с атомами и простыми молекулами. Элементы такой величины позволят записывать информацию с плотностью один бит на молекулу, и в итоге «вычислительные машины приобретут практически неограниченную память и быстродействие, лимитированное только временем прохождения сигнала через прибор» [Дьячков П.Н., 2000, с.23].

нер в области нанотехнологий лауреат Нобелевской премии Э. Дрекслер, на которого ссылается Б. Джой.

Хорошо известными издержками обернулась и реализация лозунга о покорении пассивной природы активной человеческой воле. Ценой за беспримерно высокие жизненные стандарты в одних регионах и стабильное обеспечение жизненных нужд в других регионах стало обострение экологических и демографических проблем. В частности, резко сократившаяся смертность при прежних показателях рождаемости обернулась быстрым и к тому же крайне неравномерным ростом населения, а широкая доступность информации и транспорта дала дополнительный импульс миграционным процессам.

На протяжении нескольких столетий, вплоть до 30-х годов XX века, основным источником демографического роста и миграций была Европа, лидировавшая в развитии технологии и экономики. Население Европы и выходцев из нее составляло 22 % человечества в 1800 году и примерно 30 % в 1930 году [Кеннеди П., 1997].

Когда же ареалы ускоренного роста населения переместились в регионы с отсталыми технологиями, усиливающиеся потоки людей устремились в благополучные страны. Но если расширение «жизненного пространства» европейцев обеспечивалось превосходством в военной силе, то сопротивление иммиграции из стран «третьего мира» блокируется гуманистическими представлениями об индивидуальном и этническом равноправии, а также чувством вины за колониальное прошлое. Тем не менее перспектива «растворения» коренных (или успевших укорениться) народов в потоке иноэтничных мигрантов, чьи культуры и обычаи воспринимаются как отсталые, влечет за собой новые социальные напряжения.

В целом бурный рост населения планеты давно начал вызывать у ученых и политиков тревогу, подчас доходящую до истерии (см. далее). В начале 70-х годов, когда страхи по поводу ядерной катастрофы несколько улеглись, возник вопрос: а что будет, если ядерная война не произойдет? После первых докладов Римскому клубу мировую печать захлестнули рассуждения о том, на сколько хватит материальных, энергетических и биологических ресурсов планеты при наличных темпах роста населения и потребления[9] Разразившийся вскоре нефтяной кризис дополнил расчеты ученых наглядным уроком дефицита, насытив алармистское мироощущение новым предметным содержанием.

Акцент на демографическом, энергетическом и прочих аспектах глобального экологического кризиса заслонил еще одну существенную проблему, которой оборачивается впечатляющая победа культуры над естественным отбором.

Последний, как известно, и в природе, и отчасти в обществе играл стабилизирующую роль, отбраковывая биологически неблагоприятные мутации вместе с их носителями. Резкое ослабление этого безжалостного механизма природы[10] – один из самых замечательных успехов человеческой истории – не может пройти безнаказанно для сменяющихся поколений.

Говоря сугубо биологическим языком, чересчур благоприятные для каждой особи условия жизни снижают жизнеспособность популяции. В нашем случае гарантированное выживание почти всех родившихся детей ведет к накоплению генетического груза, которое, по мнению некоторых ученых, носит экспоненциальный характер [Бочков Н.П., 1978]. В результате каждое следующее поколение людей рождается биологически менее жизнеспособным, а потому

---

[9] Вопрос о том, что опаснее для будущего планеты: рост населения в бедных странах или рост индивидуального потребления в богатых странах – сильно политизирован. Согласно расчетам, средний американец потребляет в 150 раз больше энергии, чем житель Боливии, Эфиопии или Бангладеш [Myers N., 1990] и наносит в 280 раз больший ущерб природе, чем житель Чада или Гаити [Кеннеди П., 1997]. Тем не менее научно обоснованным представляется мнение, что первый фактор (рост населения) опаснее второго. Увеличение социального богатства позволяет затрачивать средства на восстановительные мероприятия (повышая тем самым степень возобновимости ресурсов) [Люри Д.И., 1998], а также на образование и дифференциацию деятельностей. К этому вопросу я далее буду возвращаться.

[10] Речь идет о фактическом устранении самой грубой и очевидной формы естественного отбора – на уровне родившихся индивидов.

более зависимым от искусственной среды. И хотя в последнее время обнаружилось наличие дополнительных механизмов самозащиты генофонда [Генетическая…, 1998], бесспорно одно: чтобы человек, одолевающий естественный отбор, оставался жизнеспособен, его среда и образ жизни должны становиться все более искусственными.

Мутационный процесс усугубляется усиливающимся отравлением межтканевых жидкостей организма токсинами, тяжелыми металлами, а в последнее время и радионуклидами – отходами производств, накапливающимися во внешней среде [Проблемы клинической…, 1997], [Зубаков В.А., 2000]. Это ведет к необычайно быстрому (по биологическим меркам) перерождению химической среды клеток в многоклеточном организме, и неизвестно, сколь долго наличные средства искусственной протекции способны препятствовать переходу от химического перерождения внутренней среды организмов к лавинообразному вырождению вида…

В специальной и популярной литературе встречаются различные суждения по поводу того, вступило ли человечество в фазу глобального антропогенного кризиса или только еще приближается к ней. Подводя итог всему сказанному выше, можно заключить, что во второй половине XX века резко проявился только один из параметров кризиса – военно-политический, – который удалось преодолеть, переведя его в следующую фазу, менее отчетливую, но не менее опасную. Продолжающийся рост населения и расходования ресурсов свидетельствует о том, что комплексный глобальный кризис пока не наступил, но симптомы его приближения, дополненные экстраполяционными расчетами, складываются в неутешительный диагноз: развитие мировой цивилизации приняло *предкризисный* характер. По всей видимости, поколениям XXI века предстоит решать ряд кардинальных мировоззренческих и практических проблем, содержание которых уже можно обрисовать с некоторой достоверностью.

1.2. Распутье двадцать первого века

Мы заброшены в XXI век без карты, без руля и без тормозов.
Б. Джой

Если человечество… не изменит кардинальным образом свое поведение в планетарном масштабе, то уже в середине XXI века могут возникнуть такие условия, при которых люди существовать не смогут.
Н.Н. Моисеев

Современное состояние человека как биологического вида можно сравнить с балансированием между эволюционной трансформацией и полным исчезновением.
Дж. Аллен, М. Нельсон

…Ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход,
И то – не тот…
В.С. Высоцкий

Коль скоро прогнозирование вообще строится на экстраполяции, его исходной процедурой служит экстраполяция *линейная*. Именно линейное распространение наблюдаемых тенденций позволяет субъекту предвосхищать события и планировать собственные действия по вмешательству (или невмешательству) в их ход для достижения потребных результатов. Таков обобщенный алгоритм опережающего отражения (моделирования), которым пользуется всякий живой организм [Бернштейн Н.А., 1961].

Начав с линейной проекции опасных тенденций, отчетливо проявившихся за последние десятилетия XX века в сферах политики, демографии, экологии и генетики, мы убеждаемся, что к середине XXI века планетарная цивилизация может оказаться на грани самоистребления.

Так, небезосновательны сценарии, предрекающие религиозный ренессанс, новое Средневековье и деление человечества на враждующие между собой «цивилизации» по конфессиональному признаку. В статье, ставшей научным бестселлером 1994 года, американский политолог С. Хантингтон [1994] детально обрисовал такую перспективу, представив ее даже не как один из возможных, но как безальтернативный вариант развития мировых событий. В последовавшей дискуссии[11] было не без сарказма отмечено, что образование противоборствующих цивилизаций потребовало бы предварительной насильственной интеграции внутри каждой из них [Шахназаров Г.Х., 1999], и в таком случае война всех против всех обещает стать лейтмотивом наступающего столетия.

Как уже приходилось доказывать в процессе обсуждения автору этих строк [Nazaretyan A., 1996], проекции подобные хантингтоновской суть сценарии «Конца истории». Но не в том смысле, какой вложил в это понятие гегельянец Ф. Фукуяма [1989], утверждавший, что крах фашизма, коммунизма и прочих «вызовов» и окончательная победа либеральных ценностей сделает последующую жизнь общества бессобытийной. Напротив, перед нами сценарий драмы с катастрофическим финалом: реанимация средневекового политического менталитета в сочетании с современными боевыми технологиями создаст гремучую смесь, которая неизбежно взорвет здание планетарной цивилизации.

[11] В ее процессе С. Хантингтон, похоже, смягчил позицию, и в книге [Huntington S, 1997] сценарий выглядит уже как не единственно возможный, но наиболее вероятный.

По сути аналогичен итог другого сценария, построенного, в отличие от предыдущего, не на политико-идеологических, а на экологических и демографических соображениях.

При этом ссылаются на ускоряющееся расходование полезных ископаемых, включая энергоносители, сокращение растительного покрова, биоразнообразия, уничтожение экосистем, вещественные и энергетические отходы, создающие радиационное загрязнение, парниковый эффект и т. д. Согласно В.Г. Горшкову [1995] и его последователям [Арский Ю.М. и др., 1997], человечество не нарушает внутреннее равновесие биосферы до тех пор, пока потребляет до 1 % чистой продукции биоты. (Критики [Голубев В.С. и др., 1997] указали на методологические неточности, приведшие к такому результату, но детали пока оставим в стороне). Сегодня потребление превысило 10 % и продолжает увеличиваться. И, хотя львиная доля расходов и отходов приходится на США и другие развитые страны, особую тревогу у многих экологов вызывает рост населения в бедных странах. По их расчетам, количество людей на Земле давно превысило допустимую норму и, если в ближайшие годы этот процесс не сменится на обратный, то в обозримой перспективе наступит глобальный обвал.

Какова же предельная для биосферы численность человеческого населения? Наиболее популярное число – 1 млрд. человек[12], но называют и меньшие величины. Горшков полагает, что экологический предел – 700 млн. человек – был превзойден в начале XIX века. Лидер «глубинной экологии» А. Нейес ограничил допустимое количество 100 млн. человек [Философия…, 1997]. В учебном пособии, подготовленном группой видных российских экологов [Арский Ю.М. и др., 1997], утверждается, что демографический оптимум был достигнут уже в верхнем палеолите и составляет 10 млн. человек.

Из подобных расчетов вытекают достаточно грустные выводы, хотя они редко формулируются с такой откровенностью, как в одной из статей Н.Н. Моисеева [1992]. «Для того чтобы человечество не нарушало хрупкого баланса ресурсов, – писал он, – население планеты *при нынешнем уровне технологий* (курсив мой – *А.Н.*) должно быть уменьшено раз в десять… А такое, вероятнее всего, невозможно. Значит, предсказанная Мальтусом катастрофа в той или иной форме неизбежна» (с.89).

Оговорка, выделенная курсивом, весьма красноречива, и к ней я далее вернусь. Многие авторы таких оговорок не делают, выдавая результаты расчетов, выполненных в уплощенной мальтузианской модели, за последнее слово науки. Это, в свою очередь, служит поводом для политических суждений глобального характера. «XXI век по многим военно-политическим прогнозам обещает быть грозным столетием войн за уменьшающиеся сырьевые ресурсы, за место в “золотом миллиарде” человечества», – утверждал, например, главный редактор «Красной звезды» Н.Н. Ефимов [2000].

Тем самым хантингтоновский сценарий предстает перед нами в новом обличье и с иными обоснованиями. Но комментарий к нему остается прежним: если политические события станут развиваться по логике военных конфликтов (чего, конечно, нельзя исключить), то не стоит и мечтать о разрешении глобального экологического кризиса. А начавшееся столетие, насыщенное «знаниями массового поражения» (см. раздел 1.1), наверняка завершит историю цивилизации на нашей планете.

Не менее суровая глобальная опасность, о которой говорилось в предыдущем разделе, связана с накоплением генетического груза. Сколь бы ни расходились специалисты в оценке конкретных деталей и сроков, сокращающийся в каждом следующем поколении процент полноценных в медицинском отношении детей свидетельствует о том, что при сохранении наблю-

[12] Понятие «золотой миллиард» используется в двух значениях. В одних случаях это предельно допустимое число обитателей планеты. В других – население благополучных стран, составляющее элиту человечества с вытекающими отсюда ответственностью и правами управления.

даемых процессов биологическая деградация населения в обществах, радикально ограничивших естественный отбор, – вопрос времени…

Итак, *линейное* распространение в будущее ряда тенденций, наблюдаемых на стыке XX и XXI веков, дает повод полагать, что цивилизация на планете Земля доживает последние десятилетия своей бурной истории. А далее наступает очередь *конструктивных* вопросов: каким образом возможно изменить ход событий, чтобы обеспечить сохранение цивилизации, и чем для этого придется пожертвовать?

В многообразии глобальных проектов и рекомендаций выделяются две стратегии мышления, которые условно и избегая пока каких-либо оценочных коннотаций, назовем «романтической» и «прогрессистской».

Первая стратегия основана на постулате человеческой вины. Согласно этому постулату, кризисы обусловлены тем, что человечество нарушило законы природы (или, в другой версии, божественные установления) и сталкивается с неизбежными последствиями. Соответственно, выход – в возврате к утерянным ценностям и состояниям.

Разумеется, любой здравомыслящий аналитик понимает, что буквальный возврат в прошлое невозможен, и речь идет только об ориентирах. Имеются также существенные разногласия по поводу того, когда именно общество пребывало в оптимальном, гармоничном состоянии и какая эпоха должна служить образцом: средние века, античность, палеолит? Но убеждение в том, что средства для выхода из кризиса следует искать в прошлом, объединяет приверженцев романтического умонастроения.

Например, то, что в концепции Хантингтона предстает как печальная неизбежность, для религиозных и национальных фундаменталистов – желанная цель, даже своего рода антикризисная технология. Они обычно считают само собой разумеющимся, что в добрые старые времена люди были здоровее и счастливее, не сталкиваясь с экологическими и идеологическими кризисами. На этом фоне споры о том, какое религиозное учение и чей национальный дух лучше способствуют бескризисной жизни, столь же неизбежны, сколь и второстепенны по существу.

Рекомендации религиозных (и национальных) фундаменталистов смыкаются с призывами экологических фундаменталистов своей ретроградной направленностью, но есть между ними и существенное различие. Первые обычно требуют ограничить индивидуальные потребности («нищета должна снова превратиться в добродетель» [Панарин А.С., 1998]), но крайне негативно относятся к контролю над рождаемостью. Напротив, излюбленный мотив вторых – сократить население Земли до биосферно-приемлемого уровня, т. е., по разным оценкам, в 6, в 10, в 60 и даже в 600 раз. Как же этого добиться?

Мысль о большой войне уважающие себя исследователи отвергают, подчас ссылаясь на недостаточную эффективность классического средства депопуляции: «Войны ослабляли воюющие армии и страны, но лишь незначительно уменьшали тем самым скорость разрушения биосферы цивилизацией» [Арский Ю.М. и др., 1997, с. 306]. Взамен они предлагают сократить деторождение до одного-двух детей в семье, хотя остается неясным, как возможно убедить в этом миллиарды людей и выполнима ли такая задача при остром дефиците исторического времени.

Обсуждались и более «операциональные» предложения. Правда, они, как правило, настолько экзотичны, что бытуют по большей части не в академической литературе, а в массовой печати и околонаучных «тусовках». Отбросив заведомо безнравственные – война, прекращение экономической и медицинской помощи бедным странам, – могу указать на два сюжета. Первый состоит в том, чтобы регулировать пол зародышей (технически это допускается современной биохимией), достигая глобального соотношения 9 родившихся мальчиков на 1 девочку; при таком раскладе рождаемость в следующем поколении резко снизится. Второй –

подмешивать в пищу, в воду, даже распылять в воздухе псевдогормональные препараты, снижающие вероятность зачатия за счет «очищающей селекции» (см. об этом [Лем С., 1992])[13].

Очевидно, что все подобные предложения опять-таки упираются в задачу уговорить, обмануть или принудить народы и правительства прибегнуть к депопуляционным мерам, а также к спорам о том, где их следует применять, а где нет. Любой искушенный в риторике идеолог легко доказывает, что именно в его стране сокращать население не требуется, причем один из безотказных аргументов – сравнение ресурсных затрат на человека в богатых и в бедных странах (см. раздел 1.1).

Сегодня мало кто верит в реалистичность глобальных депопуляционных программ. Население Земли продолжает увеличиваться, и хотя его относительный прирост, как и предполагали, несколько снизился, стабилизация ожидается на уровне, вдвое и более превышающем нынешнюю численность. Это обстоятельство рождает у экологов «романтического» направления глубокий пессимизм. Тем не менее пропаганда в духе демографического алармизма активно проводится в СМИ и в учебных аудиториях, часто приводя к неблагоприятным последствиям.

С одной стороны, горячие головы уже предложили постраховые квоты на депопуляцию, что вызывает резкую реакцию со стороны местных националистов (см. [Кургинян С. и др., 1995]). С другой стороны, иноэтничные мигранты объявляются главной угрозой для сложившихся социоэкологических систем [Гумилев Л.Н., 1993]. На этой почве «левые экологи» смыкаются с идеологами и политиками крайне правого толка, и авторитет науки используется для нагнетания ксенофобии. Западные социологи заговорили об опасности зеленого тоталитаризма и эко-фашизма [Snooks G.D., 1996]. Поскольку же принудительный контроль над рождаемостью и депопуляция составляют ядро большинства версий «устойчивого развития», можно согласиться с критиками, считающими данную концепцию «одним из опаснейших заблуждений современности» [Моисеев Н.Н., 1994] (ср. также [Лесков Л.В., 1998], [Зубаков В.А., 1999] и др.).

Исходя из призывов «назад к Природе», «жить по законам Природы», признать «равенство прав» человека с прочими живыми существами и проч., можно представить себе и меры против накопления генетического груза. По логике вещей, речь должна идти об упразднении медицины и радикальном снижении жизненных и гигиенических стандартов.

Действительно, вошь, вирус и чумная бацилла – такие же твари божьи, как и человек, а потому биоэтически небезупречно спасать жизни людей, обеспечивая к тому же противоестественный рост их числа, ценой уничтожения их естественных врагов. По законам природы человеческие особи должны служить материалом для регулярного естественного отбора, большинство родившихся детей должны не доживать до взрослого возраста, а взрослые, по завершении детородного периода, – вскоре погибать (природе не нужны старики). Добавлю, что человеческое население уже превосходит на пять порядков численность популяций диких животных, сопоставимых с человеком по размерам тела и типу питания [Капица С.П. и др., 1998]. Антропологами указаны факторы, благодаря которым популяция ранних гоминид могла возрасти вчетверо, оставаясь еще в рамках биологической закономерности [Клягин Н.В., 1999], но и с учетом этого население Земли следовало бы сократить не в 6 и даже не в 600, а в десятки тысяч (!) раз. Само собой разумеется, что, отказавшись от привилегированного положения в природе, человек обязан мирно сосуществовать (сколь бы ни было односторонним такое миролюбие) с хищниками, ядовитыми змеями, болезнетворными насекомыми и микроорганизмами, прекратить выпалывание сорняков, культивирование сельскохозяйственных растений и животных и т. д. Надо ли доказывать, что на таком пути разрешения экологического

[13] Использование нанотехнологий для искоренения носителей того или иного генофонда (см. раздел 1.1) в печати еще, наверное, не обсуждалось. Впрочем, разве за всем уследишь?

кризиса «золотой миллиард» – или «золотой миллион»? – человечества составят не граждане преуспевающих стран, а бушмены и прочие первобытные племена…

Все это с логической неизбежностью вытекает из биоцентрического мировоззрения, хотя левые экологи обычно не доводят рассуждения до конца, оставляя их непоследовательными. Например, они подсчитывают, какой ущерб природе наносится современными технологиями, но не вычисляют, каким обвалом экосистем обернулся бы возврат к архаическим способам хозяйствования, а факты, свидетельствующие о тяжелейших экологических кризисах в прошлом, просто игнорируют; призывают к депопуляции, но обходят вопрос о реалистичных способах (см. [Назаретян А.П., Лисица И.А., 1997]). Бесконечные концептуальные нестыковки такого рода и дали повод американскому социологу А. Тоффлеру, обычно солидному и корректному в формулировках, высказаться неожиданно резко: «Только романтические дураки болтают о возвращении к природному состоянию» [Тоффлер А., 1997, с. 349].

Чтобы спасти биоцентрические построения, предлагаются компромиссные формулировки типа «вперед – к Природе», которые на поверку оказываются не более чем красивой публицистикой. Если говорить о «настоящей» (т. е. аутентичной, дикой) природе, к механизмам и закономерностям которой обязаны апеллировать последовательные биоцентристы, то неуместно слово «вперед». Если же речь идет о заповедниках, парках, оранжереях и ручных зверюшках, то налицо подмена понятий: все это не природные, а культурные новообразования, созданные человеком, как и все прочие артефакты, из материала природы. Поэтому такое сближение с природой есть одна из форм «очеловечивания», антропосферизации биоценозов [Буровский А.В., 1999], т. е. дальнейшего восхождения (или, в трактовке биоцентристов, нисхождения) социоприродных систем от естественных к искусственным состояниям.

Но тогда в обсуждаемом тезисе доминирует слово «вперед», и сам тезис укладывается в рамки альтернативной романтизму прогрессистской стратегии.

Последняя вытекает из эволюционной картины мира, в рамках которой кризисы рассматриваются как закономерные фазы развития общества и природы. Соответственно, прогрессисты ищут решение глобальных проблем, обострившихся в процессе исторического развития, на пути *дальнейшего развития* по тем же векторам, по каким оно происходило до сих пор. Эта парадоксальная стратегия также сопряжена с целым рядом теоретических и эмоциональных трудностей, а между ее сторонниками имеются существенные разногласия по конкретным вопросам.

Так, в противовес возврату к религиозной и политической вражде Средневековья часто выдвигают идею Мирового правительства с широкими и подкрепленными военной силой полномочиями. Оно видится как развитие исторической тенденции, состоящей в укрупнении социальных организмов.

Оппонентами такого проекта сформулированы два основных возражения. Во-первых, он предполагает отход от либеральных ценностей в сторону планетарного тоталитаризма, предназначенного для увековечения господства богатых стран над бедными и эксплуатации их ресурсов (т. е. здесь концепция «золотого миллиарда» выступает в новом обличье). Во-вторых, это приведет к подавлению культурного разнообразия [Шахназаров Г.Х., 2000], [Панарин А.С., 2000]. То и другое неизбежно обернулось бы снижением жизнеспособности мирового сообщества.

Для полноты картины приведу экстремальное предложение по формированию глобального управляющего центра. «Геостратегический успех, достигнутый в этом деле, – пишет крупнейший политолог З. Бжезинский [1999, с.254], – надлежащим образом узаконит роль Америки как первой, единственной и последней истинно мировой сверхдержавы».

Последнюю цитату даже не стану здесь комментировать, потому что она отчетливо демонстрирует тот самый социально-психологический синдром Homo prae-crisimos, который подробно описан в разделе 2.7. Что же касается более взвешенных проектов, возражения про-

тив них снимаются другой версией прогресса, по которой политическая перспектива состоит, напротив, в децентрализации и регионализации власти, образовании экономических и технологических блоков, объединяющих области различных стран. Футурологи приводят выразительные свидетельства продуктивности такой тенденции на различных континентах [Кеннеди П., 1997]. В пределе логично ожидать отмирания или функционального перерождения национальных государств [Negroponte N., 1995] и государства вообще (особенно «модерного государства», сложившегося в Новое время [Фурс В.Н., 2000]) как исторически преходящей формы социальной организации.

По мере того, как удельный вес товарной стоимости будет смещаться от вещественной и энергетической к информационной составляющей, традиционные формы государственных границ, таможен и армий превратятся в анахронизм. Продолжающееся совершенствование, удешевление и распространение сетей типа «Интернет», разработка компьютерных языков (которых пользователям знать не требуется, но через которые будет автоматически осуществляться перевод) – все это сделает человеческие контакты независимыми от географической локализации, национальной принадлежности и социального положения корреспондентов.

В результате государственные и вообще макрогрупповые формы организации будут вытеснены сетевой самоорганизацией мирового сообщества, всемирным гражданским обществом. Идиллическую картину дополняет перспектива «бескровных войн», ареной которых станут «мультимодальные» экраны компьютеров (с включением зрения, слуха, осязания и других сенсорных анализаторов): с их помощью каждый желающий может достоверно переживать весь комплекс эмоций, связанных с участием в боевых операциях. Война, как и прочие функции государства, переместится в виртуальную сферу…

К сожалению, и такой сценарий только на первый взгляд кажется беспроблемным. Дезинтеграция государств, уже принявшая форму глобального геополитического передела, начатого распадом СССР, разложение национальных и религиозных общностей – все это сопряжено с трудными идеологическими, эмоциональными перестройками и фрустрациями. А значит, с психологическим, политическим и в ряде случаев, вероятно, силовым сопротивлением. В игру уже давно включены корпоративные, финансовые и прочие эгоистические интересы, и большой вопрос, удастся ли человечеству пройти путь до безгосударственного существования с минимальными издержками (такими, которые не обернулись бы глобальной катастрофой). Впрочем, как мы далее убедимся, это еще не самая острая из коллизий будущего в рамках прогрессистского сценария.

Что касается демографической стороны дела, здесь оценки прогрессистов диаметрально отличаются от оценок их оппонентов. Например, авторы книги [Капица С.П. и др., 1997] допускают одновременное существование на Земле 12–14 млрд. человек. На этой численности, по их мнению, реально прекратится демографический рост, но не из-за нехватки ресурсов, а в силу культурно-психологических причин. Сходные числа, от 10 до 14,5 млрд. человек, заложены в сценарии некоторых американских исследователей (см. обзор литературы в [Кеннеди П., 1997]). Называют и большие числа – 15–25 млрд. Скрупулезный анализ проводимых расчетов и их методологии привел ряд экспертов к выводу, что вообще «представление о “пределах роста” является ложным» (цит. по [Капица С.П. и др., 1997, с. 249]).

В начале 80-х годов представители «ревизионистской школы» выступили за стимулирование рождаемости, подчеркнув, что с ростом населения увеличивается количество творческих личностей, способных обеспечить технологические, социальные и духовные перестройки. Наиболее обстоятельно этот тезис обоснован австро-американским экономистом и социологом, лауреатом Нобелевской премии Ф.А. Хайеком [1992].

Хайек показал, что демографический рост чреват опасностями постольку, поскольку он опережает рост социокультурного разнообразия, т. е. увеличивается количество «одинаковых людей». Когда множество людей желают одного и того же и владеют одними и теми же про-

стыми навыками, они создают неустранимую напряженность на рынке труда, конкурируют за ресурсы и наращивают их расход. Но когда увеличивается количество «разных людей», мыслящих непохоже и владеющих разнообразными умениями, параллельно умножаются социальные услуги. Отходы одних деятельностей становятся сырьем для других деятельностей, все более полно вовлекая в единый круговорот вещественные и энергетические ресурсы. В итоге с ростом населения и *потребления* сокращаются *расходы* природных ресурсов и, что не менее важно, *отходы* социальной жизнедеятельности.

В той же парадигме прогрессисты обсуждают способы решения энергетической, продовольственной и других проблем. Они указывают на недооценку оппонентами объемов и потенциала имеющихся запасов плодородной почвы и энергоносителей, а также творческих возможностей человеческого ума; реальную же проблему видят в необходимости социальной, экономической, политической и психологической перестройки мирового сообщества (см. [Кеннеди П., 1997], [Лесков Л.В.,1998] и др.).

От того, примем мы точку зрения «алармистов» (романтиков) или «ревизионистов» (прогрессистов), решающим образом зависит программа действий, особенно в демографической сфере. В первом случае следует направить финансовые и интеллектуальные усилия на пропаганду малодетности, а в идеале бездетности, и прочие депопуляционные мероприятия, причем не надеясь на существенный результат. Во втором – на развитие образования, воспитания, систем профессиональной подготовки и переквалификации, удешевление, распространение и совершенствование информационных сетей и т. д. Вторая стратегия, конечно, выглядит предпочтительнее для гуманиста, но это само по себе не может служить определяющим аргументом. Тем более что последовательное прочтение прогрессистского сценария, как выше отмечено, счищает с него лоск рождественской идиллии.

Особенно очевидны теоретические и эмоциональные коллизии современного прогрессизма при изучении экологического и генетического аспектов глобального кризиса. По сути дела, стержень прогрессистских подходов составляет дальнейшая «денатурализация» внешней и внутренней среды человека.

Предполагается, что биосфера будет все более превращаться в подсистему планетарной цивилизации (ноосферы) с возрастающей ролью искусственного управления. Допустимые объем и степень стихийной саморегуляции биоценозов, видовой состав и плотность заполнения экологических ниш будут определяться в соответствии с интересами единой социо-при-родной системы, т. е., в конечном счете, с потребностями культурного субъекта. Удельный вес биотических регуляторов будет последовательно сокращаться, и природа в целом – антропоцентризироваться, превращаясь в эрзац, памятник или, по выражению А.А. Брудного [1996], «знак самой себя».

Понятно, почему такая перспектива болезненно воспринимается не только «зелеными», но и широкой общественностью.

Еще сильнее шокируют прогнозы, связанные, по этому сценарию, с самим человеком.

Поскольку нас не устраивают ретроградные способы противодействия накоплению генетического груза (отказ от медицины и т. д.), реальную альтернативу могло бы составить последовательное вытеснение естественных механизмов биологической регуляции искусственными. Генная инженерия, превентивное отслеживание наследственных патологий, консервация клеток, клонирование, выращивание и трансплантация органов, внеутробные формы вынашивания плода и прочие пока еще полуфантастические кошмары будут означать вторжение инструментального интеллекта в самые интимные основы бытия.

Сегодня едва можно вообразить, какими злоупотреблениями и трагическими ошибками чревата столь немереная власть над организмом. И какое качество социального, нравственного и правового контроля необходимо для того, чтобы злоупотребления и ошибки не привели к необратимым катастрофам.

Но и это еще не все. Согласно прогрессистскому сценарию, будет неуклонно возрастать роль автоматизированных систем хранения и переработки информации в жизнеобеспечении общества. Их внедрение во все сферы человеческой деятельности – необходимое условие для того, чтобы радикально повысить удельную продуктивность производств, предотвращать и смягчать потенциальные конфликты, исключив кровопролитные формы их разрешения и т. д. Но, увы, рисующийся взору энтузиастов информационный рай [Гейтс Б., 1996] – не более чем очередная утопия.

На заре кибернетики крупнейший математик Дж. фон Нейман теоретически доказал, что количественное наращивание мощности и быстродействия ЭВМ рано или поздно приведет к непредсказуемым и неподконтрольным качественным эффектам. В середине 80-х годов немецкий ученый В. Циммерли заметил, что тенденция уже приобрела реальные очертания. Он назвал ее парадоксом информационных технологий: контроль за функционированием компьютерных систем обеспечивается посредством более сложных систем, и таким образом машинный интеллект неуклонно обособляется от человеческого [Zimmerli W., 1986].

Имеются и специальные аргументы в пользу того, что самообучающаяся система с рефлексивной моделью мира, квазипотребностными механизмами автономного целеполагания, способная оценивать успешность действий, отношение между общими и частными задачами, испытывать аналоги удовлетворенности и неудовлетворенности и т. д. – такая система не будет вечно оставаться «машиной» в привычном смысле слова. Включение же в электронную конструкцию белковых молекул (биочипов), выращенных в генетической лаборатории и ускоряющих искусственное формирование сенсорных органов, должно особенно впечатлить тех, кто склонен придавать большее значение субстратным (органика – неорганика), чем функциональным признакам. Впрочем, биочипы – вероятно, только промежуточное решение, если иметь в виду поразительные перспективы нанотехнологий (см. раздел 1.1). Все это дало основание американскому ученому Г. Моравеку [1992, с. 34] заявить: «Недалек тот час, когда наши механические рабы обретут душу».

Что же произойдет потом? Автор приведенной цитаты, один из самых знаменитых специалистов по робототехнике, основатель крупнейшей в мире программы по изучению роботов, в новой книге [Moravec H., 2000] попытался это предугадать, используя дарвиновскую модель борьбы за существование. Он провел параллель с тем, как 10 млн. лет назад, после образования Панамского перешейка, плацентарные млекопитающие Северной Америки проникли в Южную Америку и за несколько тысячелетий извели обитавших там сумчатых. Нечто подобное, но за гораздо меньший срок, приличествующий XXI веку, должно произойти и теперь. Роботизированные производства, конкурируя между собой за вещество, энергию, пространство и информацию, настолько повысят цену этих ресурсов, что они станут недоступны для людей; последние будут, таким образом, обречены на вымирание. Моравек скептически относится к «законам робототехники», сформулированным писателем А. Азимовым, и не надеется на то, что в сознание роботов удастся внедрить имманентные алгоритмы человеколюбия, а значит, в этой конкуренции шансы человечества равны нулю.

Такие высказывания профессионалов уже начали влиять на массовые настроения. В США появились неолуддиты, физически истребляющие программистов как носителей главной опасности для человеческого рода. Рассказывая об этих фактах, о пострадавших друзьях и коллегах, о том, что и сам может стать очередной мишенью, уже известный нам Б. Джой, соучредитель и главный специалист компании «Сан майкросистем», неожиданно солидаризируется со своими смертельными врагами [Joy B., 2000].

Характерно само заглавие его статьи: «Мы не нужны будущему». Автор много лет увлеченно работал над совершенствованием компьютерных программ и созданием нанотехнологий с верой в то, что его труды сделают мир лучше и комфортнее для людей. Но теперь, добившись

крупных результатов и продумав соотношение позитивных и негативных последствий, он с ужасом убедился, что создает могильщика человечества.

По расчетам Джоя, к 2030 году мощность самых совершенных компьютеров 2000 года будет превзойдена в 1 млн. раз (!). Этого достаточно для появления разумного робота («нанобота») способного к самовоспроизводству и, соответственно, для образования «вида роботов». В сочетании с новыми возможностями физики и генетики это обеспечит тотальную искусственную перестройку мира, в котором человеку места не останется.

Ученый рассматривает различные проекты спасения людей, вплоть до удаления их на другие планеты, но единственное реальное средство видит в запрете на развитие компьютерных технологий. Он готов первым отказаться от дальнейшей работы в этом направлении, хотя опасается, что его предложение уже запоздало…

Своеобразный рекорд завершенности леденящих душу картин принадлежит сотруднику НАСА, российско-американскому специалисту по компьютерам А. А. Болонкину, статью которого в 1995 году опубликовала «Литературная газета». Между людьми и роботами (электронными Е-существами) – вездесущими и во всех отношениях превосходящими своих создателей – возникнет поляризация. Созданные для блага людей, Е-существа перестанут нуждаться в духовной связи с ними и приступят к их уничтожению. В итоге вид Homo sapiens будет представлен небольшим числом особей в биокислородных резервациях вроде наших зоопарков. Ибо станет очевидно, что «человечество выполнило свою историческую миссию и не нужно более ни природе, ни Богу, ни простой целесообразности» [Болонкин А., 1995].

Характерно, что в рассуждениях Болонкина отсутствуют мотивы литературной антиутопии, предупреждения или хотя бы (как, например, у Джоя) сожаления о судьбе человечества, завершающего свою «миссию». Эмоции бесполезны, так как всякие попытки остановить, запретить научно-технический прогресс или изменить его формы напрасны, а будущее предопределено. Хотя автор даже не скрывает наполняющего его восторга по поводу начертанной перспективы.

Здесь невольно задумаешься, как в старом анекдоте: а стоило ли? Если драматическая история разума и культуры приводит только к образованию все более могущественных и безжалостных агрессоров, то нужно ли беспокоиться о дальнейшем сохранении цивилизации?

Впрочем, это вопрос из области сантиментов, опускаться до которых приверженцы экстремального прогрессизма не склонны. Но тогда возникает другой вопрос, уже вполне «рациональный» и изоморфный тем, что относились к сценариям «столкновения цивилизаций» и «золотого миллиарда»: долго ли сможет удержаться от самоистребления интеллект, сочетающий столь высокий инструментальный потенциал со столь убогими ценностными установками?..

Я считаю этот вопрос риторическим и ответ на него очевидным. Технократы-прогрессисты приводят нас к тому же итогу, что и романтики-фундаменталисты, только более извилистой дорогой: на финише маячит самоистребление человечества и всего, что создано историей. Запреты, которые предлагает Джой (и некоторые другие ученые), как показывает весь материал его же статьи, бесперспективны. Не только потому, что джин «знаний массового поражения» уже выпущен из бутылки. Если бы даже удалось загнать его обратно, без развития новейших технологий численно растущее и биологически слабеющее человечество все равно было бы обречено…

Даже великий физик С. Хокинг [1998] – человек, много лет прикованный к инвалидной коляске, лишенный речи и, в отличие от благополучных коллег, со светлым оптимизмом глядящий в будущее человечества (психологическая компенсация?) – отдает дань представлению о «борьбе за лидерство с электронным роботом». Ради успешной борьбы, по мнению ученого, необходимо «улучшать интеллектуальные и физические качества человека» посредством генной инженерии (с.5). Мне представляется странной надежда на то, что скорость генетических

трансформаций, даже искусственных, может сравниться со скоростью саморазвития электронных систем, и расчет на успех в такой «борьбе за лидерство» – беспочвенным.

Обсуждаются и сценарии, предполагающие не прямое соперничество человеческого и электронного интеллектов, а различные формы их интеграции. Но и здесь все непросто.

Можно долго и полезно спорить о терминах типа «душа», «механизм», «человек», «машина». Но важно, чтобы словесные баталии не заслонили существо дела. Едва ли кто-либо способен точно указать момент, когда в искусственном творении человеческого ума обозначится новое субъектное качество – суверенное отношение к миру и к человеку.

Самый мягкий прогрессистский сценарий предполагает встречное развитие двух тенденций: «денатурализация первой природы» (стихийные биотические регуляции ноосферы, включая человеческий организм, вытесняются искусственными) и «одушевление второй природы» (продукты и орудия человеческой деятельности обретают качества субъектности). Образующиеся в итоге симбиозные формы интеллекта и цивилизации могли бы обеспечить коренное разрешение нынешних глобальных проблем. Однако даже при самом благоприятном раскладе жертвой такого развития стал бы человек в его качественной определенности…

Авторы футурологических трудов, предусматривающие такую перспективу, оценивают ее диаметрально противоположно. У одних, склонных к ностальгии и обладающих подчас художественным даром, слышится своего рода «Плач Ярославны» по уходящей стихийности природы и человеческой души [Кутырев В.А., 1994], [Зиновьев А.А., 2000]. Другие восторженно описывают киборгов и прочие синтетические химеры, призванные, как и герои Моравека, вытеснить несовершенных белково-углеводных человеков [Kosko B., 1994], [More M., 1994].

Выходит, все – не слава богу. И попятный путь, и топтание на месте, и прогресс одинаково гибельны. Одна из главных задач дальнейшего нашего исследования состоит в том, чтобы выяснить, действительно ли ситуация так безысходна. Может ли рост человеческого населения сочетаться с улучшением благосостояния и экологической обстановки? Способны ли люди жить без войн? Должны ли различные формы развитого интеллекта непременно стать конкурентами и даже врагами, наподобие близких по функции зоологических видов? Вопросы такого рода сегодня являются животрепещущими и требуют обстоятельно аргументированных ответов.

…При характеристике нынешнего исторического этапа вспоминают как Одиссея, лавирующего между Сциллой и Харибдой, так и былинного богатыря на распутье дорог, каждая из которых грозит потерями. Второй образ адекватнее в том смысле, что обозримое будущее планетарной цивилизации представляет собой набор паллиативов: среди реалистичных сценариев нет не одного беспроигрышного.

Разумеется, беспроигрышных путей история не знала никогда, они существовали разве что в воображении религиозных фанатиков, утопистов и прожектеров. Но наступившее столетие в данном отношении существенно отличается от предыдущих.

Во-первых, оно будет, как никакое другое, насыщено необходимостью трудных судьбоносных выборов при временнóм дефиците. Во-вторых, эти выборы будут более, чем когда-либо ранее, сознательными, поскольку наука уже позволяет до известной степени предвосхищать и «просчитывать» как позитивные, так и негативные последствия принимаемых решений.

Признав, что развитие непременно сопряжено с потерями, и научившись сдержанно относиться как к истерикам, так и к восторгам по поводу будущего, мы должны быть готовы к отбору *оптимальных* стратегий, т. е. обеспечивающих сохранение цивилизации при минимуме издержек. А это во многом зависит от достоверности опорных представлений об общих векторах развития, а также о механизмах обострения и разрешения эволюционных кризисов.

Вопросы о том, существуют ли в действительности универсальные векторы и механизмы, связывающие историю общества и природы, и если да, то каково их направление и содержа-

ние, являются ключевыми для ориентировки в многообразии оценок, сценариев и проектов. Далее я постараюсь показать, что системное изучение прошлого помогает найти в паллиативном пространстве будущего хотя и не идеальные, но приемлемые для человека решения.

Очерк II
Векторы исторической эволюции

2.1. Архетипы времени в традиционной культуре

Наша земля приходит в упадок; взяточничество и коррупция процветают; дети перестали слушаться родителей; каждый хочет написать книгу и конец света уже близок.
Папирус Присса (1 половина III тысячелетия до н. э.)

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Экклезиаст

«Происходить» по-латыни звучит «descendere», т. е. буквально «нисходить, опускаться», и уже в римском праве было принято рисовать генеалогическое дерево растущим сверху вниз… Что древо жизни растет не сверху вниз, а снизу вверх – это, до Дарвина, ускользало от внимания людей.
К. Лоренц

Мысль о том, что общество и природа способны необратимо развиваться от менее совершенных к более совершенным состояниям, – исключительное достояние Нового времени. Отдельные фрагменты из работ Гераклита, Демокрита, Эпикура, Анаксагора, Эмпедокла или Лукреция подчас представляются античными прецедентами эволюционного мировоззрения [Edelstein L., 1967], [Михаленко Ю.П., 1984]. Но при более полном прочтении выясняется: почти никто из древних мыслителей даже не пытался создать сколько-нибудь цельную концепцию необратимой поступательной эволюции. А удивительные аналоги диалектического учения (у Гераклита), теории естественного отбора (у Эмпедокла), теории социального прогресса (у Лукреция) и т. д. сочетаются с указаниями на неизбежность обратных фаз деградации или на грядущее разрушение земли и неба.

Дело в том, что образ кумулятивного развития сопряжен со специфическим переживанием времени, которое не свойственно ни древности, ни Средневековью, ни даже Возрождению. Этнографы знают, как трудно объяснить первобытному человеку, что такое будущее и почему, например, лучше закопать зерно в землю, чем сразу его съесть. Зато дикарь легче, чем европеец, поймет теорию относительности, для этого не надо придумывать словесный кентавр «пространство-время» и доказывать, что оно не существует помимо событий. Такие посылы заложены в его синкретическом мышлении и языке, а превращение пространственного объема во временной отрезок и наоборот – трюк вполне обычный для мифа [Юревич В.А., 2000].

Четкие временные категории отсутствовали даже в глагольных системах ряда древних городов-государств [Вассоевич А.Л., 1995]. Но и наличие таковых не меняло сути дела решающим образом. Так, у греков «время лишено гомогенности и исторической последовательности и, подобно пространству, не стало еще абстракцией. Мир воспринимается и переживается древними греками не в категориях изменения и развития, а как пребывание в покое или вращение в великом кругу. События, происходящие в мире, не уникальны: сменяющие

одна другую эпохи повторяются, и некогда существовавшие люди и события вновь возвращаются по истечении «великого года» – пифагорейской эры» [Гуревич А.Я., 1984, с.48]. Отсюда принципиальный аисторизм античной философии, на которую обращал внимание А.Ф. Лосев [Беседа…, 1984].

Конкуренцию циклическому хроноощущению античности и более древних эпох составлял образ нисходящего движения с золотым веком в ретроспективе. Сходный в принципе утопический идеал старины свойствен почти всем древним народам [Семушкин А.В., 1985], равно как и идея циклизма, хотя некоторые из современных античности восточных космологий отличаются невероятной протяженностью временных циклов. Так, по свидетельству Аль-Бируни [Бируни А.Р., 1963], индийские философы выделяли нарастающие круги времени – от «человеческих суток», которые одни только известны «массам народа», и далее до «суток Шивы». Бируни подсчитал, что максимальный цикл выражается 56-значным числом «кальп», а каждая кальпа – 10-значным числом лет. Однако, судя по всему, индийцы не утруждали себя столь сложными расчетами, главным для них было наличие обратимых циклов.

Позднеримские историки более восприимчивы к линейному течению времени, что в значительной мере связано с влиянием христианской идеологии, которая, в свою очередь, унаследовала эту парадигму от иудаизма. У иудеев такие образы то ли имели оригинальное происхождение, то ли были заимствованы у Заратуштры. Вероятно, великий перс, первый пророк Осевого времени, провозвестник индивидуального человеческого выбора и личной ответственности, стал вместе с тем и первым мыслителем, «начертавшим» в своем воображении (и учении) восходящую линию развития к окончательной победе Бога над Дьяволом [Берзин Э.О., 1985]. В этом смысле, с большим количеством оговорок, его можно было бы назвать предтечей идеи прогресса.

Христианское время в миропонимании средневекового европейца стало линейным и необратимым, но лишь в очень ограниченном смысле. Приписание человеческой истории опорных точек (сотворение мира – первородный грех – изгнание из рая – великий потоп – пришествие и смерть Христа – возвращение Мессии и страшный суд) «распрямляет» временной цикл, однако «при всей своей “векторности” время в христианстве не избавилось от циклизма; коренным образом изменилось лишь его понимание. В самом деле, поскольку время было отделено от вечности, то при рассмотрении земной истории оно предстает перед человеком в виде линейной последовательности, – но та же земная история, взятая в целом, в рамках, образуемых сотворением мира и концом его, представляет собой завершенный цикл: человек и мир возвращаются к творцу, время возвращается в вечность» [Гуревич А.Я., 1984, с.21].

Наконец, оптимизм Возрождения также ориентирован не на движение вперед, а на возврат к прошлому – от тысячелетней тьмы к светлому миру античности. Причем циклизм по-прежнему выступает на фоне убеждения в стационарности мироздания, и не случайно впоследствии Г. Галилей «противопоставил» аристотелевскому тезису об абсолютной неизменности неба тезис об абсолютной неизменности земной природы.

Но в эпоху Возрождения уже формировалось представление о безотносительном (к конкретной человеческой деятельности) течении времени, что многие исследователи связывают с развитием городов, становлением нового стиля и ритма жизни, с новыми экономическими реалиями. Переход от «библейского времени» к «времени купцов» (по выражению Ж. Ле Гоффа [1992]) был, конечно, полон противоречий. Новое ощущение и представление о времени причудливо сочетались с библейской эсхатологией, а любые догадки о поступательном движении истории пробивали себе дорогу в противоборстве с общепринятыми убеждениями в неизменности или неуклонной деградации мироздания.

Предвестником эволюционного мироощущения стала необычайная по дерзости идея Дж. Манетти, которая упоминалась в разделе 1.1. Напомню, выдающийся итальянский гуманист уже в XV веке осмелился заявить, что, благодаря исключительной остроте ума, «мир и его

красоты, созданные всемогущим Богом, … были сделаны ими /людьми/ значительно более прекрасными и изящными и с гораздо большим вкусом» (цит. по [Средневековая…, 1994, с.63]). Это послужило началом переворота в философско-историческом мышлении, хотя еще указания Ф. Бэкона и Р. Декарта на возможность приобретать новые знания, вместо того чтобы оглядываться на древних, выглядели чрезвычайно смелыми. В XVII–XVIII веках прогрессисты противопоставляли свои теории «ложной философии», сторонники которой «беспрестанно жаловались на упадок просвещения, когда оно прогрессировало» [Кондорсэ Ж.А., 1936, с.183]. Не удивительно, что в каждой конкретной области знания исходное истолкование фактических свидетельств эволюции носило пессимистический характер.

Так, когда в начале XVIII века иезуит Ж. Лафито усмотрел в общественном строе первобытных народов низшую ступень, через которую прошло все человечество, его предположение стало антитезой преобладавшему убеждению, что дикари суть выродившиеся потомки цивилизованных людей. Отсюда следовало, что дикое состояние – перспектива ныне цивилизованных народов, движущихся по нисходящей от ушедшего золотого века.

Этот спор между этнографами продолжался не менее двух веков, несмотря на самые убедительные данные археологии. Спустя сто лет после Лафито выдающийся английский геолог Ч. Лайель саркастически писал, что если бы теория вырождения была достоверна, то «вместо грубейшей глиняной посуды или кремневых орудий… мы находили бы теперь скульптурные формы, превосходящие по красоте классические произведения Фидия и Праксителя. Мы находили бы погребенные сети железных дорог и электрического телеграфа, из которых лучшие инженеры нашего времени могли бы почерпнуть драгоценные указания. Мы находили бы астрономические инструменты и микроскопы более совершенного устройства, чем те, какие известны в Европе. Мы обнаружили бы и другие указания на такое совершенство в искусствах и науках, какого еще не видел XIX век. Мы нашли бы, что торжество гения и изобретательности было еще более блестящим в те времена, когда образовывались отложения, относимые теперь к бронзовому и железному векам. Напрасно напрягали бы мы свое воображение, чтобы угадать возможное употребление и значение находок, дошедших до нас от того периода: это могли бы быть машины для передвижения по воздуху, для исследования глубины океана, для решения арифметических задач, идущих дальше потребностей или даже понимания нынешних математиков» (цит. по [Тэйлор Э., 1939, с. 34–35]).

Приведя эту длинную и яркую цитату (удивительное предвосхищение технических достижений XX века!), Э. Тэйлор посвятил еще немало страниц своей книги, написанной во второй половине XIX века, полемике с «общераспространенной теорией вырождения». При этом автор привел массу аргументов из области этнографии, археологии и даже психологии, но счел их все же недостаточными для окончательного решения спора.

Сходным образом развивались события и в науке о живом. Первые же несомненные свидетельства существования в прежних геологических эпохах отсутствующих ныне видов были истолкованы основателем палеонтологии Ж. Кювье как доказательство уменьшающегося многообразия фауны. Согласно его теории, обитатели тех или иных регионов Земли погибали в силу периодических катаклизмов, уступая место популяциям, которые выживали в других регионах. Часто приписываемая Кювье идея «творения» новых видов в действительности представляет собой позднейшее наслоение, привнесенное в теорию катастроф учениками для согласования ее с раскрывшимися впоследствии данными об отсутствии в отдаленных эпохах современных видов (изменчивость видов теорией Кювье отрицалась категорически). Иначе говоря, в биологии, как прежде в антропологии и социологии, фактическое обоснование идеи эволюции опиралось на представление о деградации[14].

[14] Аналогично этому в моделях онтогенеза еще в прошлом веке утвердилась и до сих пор сохраняет влияние «энтропийная» теория А. Вейсмана. Суть ее различных вариаций в том, что будущий организм с первых же дроблений яйцеклетки

Еще отчетливее подобная последовательность обозначилась в неорганическом естествознании. Впервые эволюционные представления (не считая гораздо более локальной и все же достаточно курьезной для своего времени гипотезы Канта – Лапласа) проникли в физику с открытием второго начала термодинамики. Конечно, вывод о преобладании разрушительных процессов в эволюции Вселенной и ее грядущей тепловой смерти вытекал из этого открытия с логической неизбежностью, и физический пессимизм, в отличие от биологического или социального, выглядел самоочевидным. Однако при сопоставлении с ситуациями, сложившимися ранее в науках о живой природе и обществе (в том числе гносеологии и этике), история становления эволюционной идеи в физике также симптоматична. Приведу для сравнения две выдержки из работ убежденных сторонников теории тепловой смерти А. Эддингтона и Дж. Джинса. «Прослеживая время в прошлое, мы находим все большую и большую организацию в мире. Если мы не остановимся раньше, то дойдем до такого момента, когда материя и энергия имели в мире максимум возможной организации» (Эддингтон); «…для вселенной, так же как и для смертных, единственно возможная жизнь заключается в движении к могиле» (Джинс) (цит. по [Мелюхин С.Т., 1958, с.29]).

Как видим, физическая теория тепловой смерти, биологическая теория катастроф, социальная теория вырождения и т. д. описывают в разных терминах аналогичную картину: в прошлом максимальное многообразие, организация, изобилие, совершенная мораль и мудрость, а в будущем – упадок, дикость, разложение, однообразие, хаос… Однако парадоксальное обстоятельство состоит в том, что «создатель научной теории неизменности видов Кювье может быть с полным правом назван одним из творцов эволюционной теории» [Берг Р.Л., Ляпунов А.А., 1968, с.6]. Действительно, настаивая на невозможности изменения каждого отдельного вида, он неопровержимо доказал изменение общего состава биосферы, т. е. ее нестационарность. С еще большим основанием к числу творцов эволюционизма можно отнести Р. Клаузиуса, автора теории тепловой смерти, поскольку идеи деградации и в физике, и в биологии (и в гуманитарных дисциплинах, хотя здесь дело обстоит сложнее) заострены против убеждения в фундаментальной неизменности природы.

После выдающихся достижений физики и астрономии XVII века и вплоть до открытия Клаузиуса (1865 год) такое убеждение в отношении физической природы по большому счету вообще не допускало серьезных альтернатив. В биологии же ситуация была не столь однозначной.

«Существует столько видов, сколько их произвело совершеннейшее существо», причем каждый из них «сотворен таким, каким мы его знаем» – эти утверждения основоположника биологической систематики К. Линнея (цит. по [Лункевич В.В., 1960, с.81]) выражают наиболее ригористический вариант консервативного миропонимания. Насколько оно носило всеобъемлющий характер, можно судить по предложенной Линнеем классификации человеческих рас, где в число неизменных признаков включены не только темперамент и характер, но и особенности общественного устройства и даже тип одежды и украшений[15].

Утонченный вариант консервативной картины мира представляли собой эволюционные концепции преформистского плана, тесно связанные с учением Г. Лейбница. Последнее предполагало развертывание внутреннего, изначально заложенного содержания каждой монады и в принципе исключало формирование подлинно новых качеств в процессе развития. Хотя

неуклонно движется к равновесию (смерти) и к моменту рождения подходит уже значительно состарившимся. В подобных концепциях «собственно развитие как процесс, противостоящий старению…, игнорируется» [Аршавский И.А., 1986, с.96].

[15] Так, американец (индеец) – «холерик, упорен, самодоволен, свободолюбив; покрыт татуировкой; управляется обычаями». Европеец – «сангвиник, подвижный, остроумный, изобретательный; покрыт плотно прилегающим платьем; управляется законами». Азиат – «меланхолик, упрямый, жестокий, скупой, любящий роскошь; носит широкие платья; управляется верованиями». Африканец – «флегматик, ленивый и равнодушный; мажется жиром; управляется произволом». В.К. Никольский, приведя эту таблицу в предисловии к книге Э. Тэйлора [1939, с. XI], подчеркивает, что «она в XVIII веке представляла собой квинтэссенцию антропологических знаний».

сам Лейбниц и его сторонники в биологии признавали филогенетическое совершенствование видов и в отдельных случаях даже ограниченное влияние среды, в целом их взгляды носили вполне сознательный консервативно-циклический характер. Исключая, вслед за Лейбницем, качественное развитие в природе, биологи представляли эволюцию как последовательное развертывание и свертывание множества неуничтожимых «вложенных зародышей» согласно «единому плану творения».

Свое философское завершение такой способ мышления получил в системе Гегеля, у которого диалектические законы реализуют «развитие» в этимологическом значении термина – развертывание изначально заложенной конечной идеи, причем это касается исключительно социальной истории. Пренебрежительное отрицание качественных изменений в природе было созвучно взглядам большинства естествоиспытателей начала XIX века, хотя на их фоне уже «повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития» [Энгельс Ф., т.21, с.287].

Действительно, естественнонаучные представления даже в XVIII веке не исчерпывались консервативными и преформистскими подходами. Одновременно с Линнеем работал Ж. Бюффон, которого некоторые историки считают основоположником биологического эволюционизма, поскольку он, будучи последователем Лейбница, наиболее активно разрабатывал частные замечания философа об изменчивости видов и ясно выразил мысль о борьбе за существование [Osborn H.F., 1929]. Несколько позже Э. Дарвин (дед Ч. Дарвина) высказал оригинальную идею наследования приобретенных признаков, а Ж. Ламарк – самый последовательный и бескомпромиссный эволюционист додарвиновской эпохи – настолько уверовал в нее, что решился вообще отрицать реальность видов.

Известно, насколько резкую и во многом оправданную оппозицию вызвала эта первая целостная концепция прогрессивной эволюции, однако эволюционную идею продолжали пропагандировать младшие современники Ламарка – И.В. Гете, П. Кабанис, Ж. Сент-Илер и другие. Наконец, убедительные эмпирические доказательства нестационарности биосферы, как уже отмечалось, были получены на рубеже XVIII и XIX веков Кювье (оставшимся до конца жизни яростным противником любого предположения об изменчивости органических форм), его учениками, а также Лайелем и другими геологами и палеонтологами.

Приходилось все далее отодвигать в прошлое срок существования Земли. В XVII веке один ирландский архиепископ вычислил дату возникновения мира: 9 часов утра 26 октября 4004 года до р. Х. – и эта дата воспроизводилась в англоязычных изданиях Библии. В 1778 году Бюффон поразил воображение современников, заявив, что Вселенная возникла 75 тысяч лет назад, а Лайель писал уже о миллионах лет геологической истории. Все это болезненно диссонировало с церковным учением, побуждая клерикалов либо предавать науку анафеме, либо прибегать к забавным выкрутасам для согласования фактических данных с Библией. Например: Бог, создавая мир, нарочно закопал в землю костные останки несуществующих животных, которые теперь и обнаруживаются учеными…

Последним или, по меньшей мере, предпоследним этажом в здании биологического эволюционизма казалась дарвиновская теория происхождения видов путем естественного отбора. За научными дискуссиями по частным вопросам и идеологическими спорами никто из современников Ч. Дарвина не заметил главного недостатка теории. Ламаркистская идея о выживании самых крупных и сильных особей легко опровергалась фактами, а компромисс, построенный на заимствованной у Г. Спенсера категории «наиболее приспособленный» (the fittest) создавал порочный круг, поскольку условием выживания объявлялась приспособленность, а критерием приспособленности – выживание. Вдохновляющий образ необратимого развития от простого к сложному и от худшего к лучшему овладел умами европейцев, находя все новые подтверждения в специальных науках и воплощаясь в доктрины О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и других философов XIX века.

Сравнивая три модели времени, выработанные традиционной культурой (замкнутая окружность, горизонтальная и наклонная линии), с моделью прогрессивного развития (восходящая линия или спираль), отметим решающее различие между ними.

Все традиционные модели располагают Божество (божества) в функциях демиурга, эталона, контролера, адресата (собеседника) и смыслообразующего центра (оправдание бытия) у основания времени, организуя соответственно мышление и жизнедеятельность человека. К тотемическим предкам обращается в песне индеец *аше*, повествуя об охотничьих успехах и неудачах. Перед богами отчитывались императоры раннего железного века, велевшие высекать на камне хвастливые сведения о своих «подвигах» (количестве убитых врагов, сожженных и разрушенных городов). И мотивация средневековых монахов-летописцев – не столько информирование будущих поколений, сколько беседа с Господом.

Проникнутые культом предков, традиционные общества остаются по преимуществу «постфигуративными» (в терминологии М. Мид [1988]), т. е. ориентирующими на воспроизводство поведенческих и мыслительных стереотипов. Проблема «отцов и детей» актуализуется лишь в отдельные переломные периоды, но в целом, на длительных исторических отрезках, безусловная доблесть состоит в том, чтобы следовать освященным традициям и авторитетам.

Историки культуры (Ф. Арьес и др.) отмечают, что в Средние века детства как социальной и психологической проблемы еще не существовало. Дети носили ту же одежду, что и взрослые, только меньшего размера, играли в те же игры и, главное, выполняли ту же работу (иногда используя уменьшенные копии «взрослых» орудий). Только в XVII веке произошло «открытие детства»: ребенок из недоразвитого человека стал превращаться в актуально и потенциально *другого*, и не просто другого, а носителя *лучшего будущего*.

Исследователи связывают этот мировоззренческий перелом с протестантизмом и контрреформацией, которые, в свою очередь, послужили «защитой от пессимизма и безнадежности, свойственных позднему Средневековью» [Каплан А.Б., 1991, с.45]. Французский историк Ж. Делюмо добавляет, что прогрессистское мировоззрение, как и протестантизм, стало психологической компенсацией скрытых страхов. Люди поверили, что наступят лучшие времена, и это способствовало преодолению катастрофического мироощущения (см. [Беликова Т., 1998]). Наконец, само это мироощущение (реакцией на которое стала вера в прогресс) было обусловлено затянувшимся социально-экологическим кризисом сельскохозяйственной цивилизации (см. разделы 2.6, 2.7).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.